

# РОМЕН ГАРИ

Прощай, Гари Купер!



im WERDEN VERLAG  
DALLAS AUGSBURG 2003

Ромен Гари  
*Прощай, Гари Купер!*  
Перевод с французского

Romain Gary  
*Adieu Gary Cooper*

The book may not be copied in whole or in part.  
Commercial use of the book is strictly prohibited.  
The book should be removed from server immediately upon © request.

©Издательство Симпозиум, 2002  
©Е. Чебучева, перевод, 2001  
©«Im Werden Verlag», 2003  
<http://www.imwerden.de>  
[info@imwerden.de](mailto:info@imwerden.de)

OCR, SpellCheck & Design by Anatoly Eydelzon [books@tumana.net](mailto:books@tumana.net)  
Generated by L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub>

*Для Диего*

## Глава I

Был там такой Иззи Бен Цви, первый человек, спустившийся на лыжах с Анд, где несколькими веками раньше прятались индейцы племени Пюла, спасаясь от тех или от того, что преследовало вас в те далекие времена, – конквистадоры или истинная религия, поди разберись. Испанцы не могли дышать таким разреженным воздухом, и даже христианская вера не забиралась так высоко. Пять тысяч пятьсот метров до земли, двадцать пять дней спуска, дерзкая затея, вот уж действительно, вряд ли кто-нибудь замахивался на нечто подобное. Иззи по натуре своей был таким человеком, которому постоянно нужно было, что называется, сматываться; в глазах его читалось выражение жажды и беспокойства, свойственное людям, которые живут только для чего-то такого, чего здесь нет, а то, что находится рядом, напротив, гонит их с каждым годом все дальше, все выше, к вечным снегам. Сначала Ленни сдружился с этим сыном Израиля, который не знал ни слова по-английски, и у них двоих сложились, таким образом, замечательные отношения. Но уже через два-три месяца Иззи научился бегло говорить на этом языке, и все пропало. Между ними внезапно вырос языковой барьер. Языковой барьер, это когда двое говорят на одном языке. Никакой возможности понять друг друга.

У Иззи мозги были забиты психологией. Не успел он овладеть языком, как сразу принялся разглагольствовать о расизме, о «проблемах черных», о «чувстве вины американцев», о Будапеште. Ленни вся эта психология нужна была, как собаке пятая нога.

Поэтому он стал всячески избегать своего приятеля. А чтобы тот не подумал, что здесь что-то личное, Ленни пустил про себя слухок, что он антисемит. Зачем зря парня обижать.

Был еще Алек, рогоносец из Савойи, который там, у себя, работал гидом, вплоть до того дня, когда застал жену в объятиях своего лучшего друга. Ему уже за тридцать перевалило, а он все еще ни черта не смыслил в жизни. Удивительно, сколько на свете взрослых людей, которые будто и не жили вовсе: неоткуда было понабраться. Самое забавное с этим французом то, что эта любовная история посеяла в нем сомнения. Он целыми часами просиживал над фотографиями своих детей, пытаясь вспомнить лица всех клиентов, которых он водил в горы. Ленни, честно говоря, не понимал, на кой ему все это сдалось и какая вообще разница, от тебя ли твой сын или нет? Это же настоящий национализм, подобная мания разбирательства, даже патриотизм, – понимаешь, что я хочу сказать, нет? Знать, твоя ли там кровь или нет, это же де Голль в чистом виде, шовинизм, штучка из разряда Жанны д'Арк. Говорю тебе, если бы у меня, кровь из носу, должен был бы быть сын, так лучше уж, чтоб не от меня. Мы бы тогда ничего друг против друга не имели, могли бы даже приятелями стать. Но французы – все патриоты, они, кстати, сами это и выдумали. А гид, в полной прострации, все рассматривал фотографии своих ребятишек.

– Кажется, старший на меня похож.

– Точно, вылитый ты.

Когда Алек сомневался, он начинал грозить, что взорвет жену, детей и себя самого вместе с ними, к чертовой матери, и это злило Ленни, потому что если, предположим, это не его дети, так зачем же их убивать? Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Какой резон сентиментальничать?

– Слушай, где у тебя логика? Теперь, когда ты вот так, сразу, и уверен, что не ты их отец, на что они тебе сдались? Это же ни в какие ворота не лезет.

– Тебе не понять, каково это, иметь детей, которые не от тебя. У тебя никогда их не было.

– Да что ты? Скажу тебе по секрету, в мире полно детей, которые не от меня!

Алек понемногу успокаивался. Он подносил к свету одну из фотокарточек:

– Во всяком случае, старший от меня. Посмотри. Ошибиться невозможно.

Это точно, ошибиться было трудно. Старший, как пить дать, был от негра. Но никто и никогда еще не видел негра в Альпах, зависшего на страховке и карабкающегося по скалам, у них, у негров, и без того заморочек хватает; то есть ни один из клиентов Алека не наставлял ему рога, напрасно он возмущался, спортивная честь не пострадала. Но он по-прежнему доставал всех со своей личной драмой, и отвязаться от него не было никакой возможности: из домика никуда не уйдешь, снег сошел, лето у порога. Они все залегли в шале Буга Морана, выжидая, когда это кончится.

Лето. Скверная история. Земля лезет со всех сторон, режет глаз, голая и грязная, со скалами, а скалы, знаете, для реальности ничего лучше и основательнее не придумаешь. Лето, для настоящего любителя, оно как море, которое отступило, оставив рыб барахтаться в вязкой жиже: выбирайтесь сами как знаете. Некоторые из бродяжничавшей братии отправлялись обучать водным лыжам на Женевском озере или в средиземноморских водах, у каталонской Коста-Брава и на Лазурном берегу, но все они ненавидели водные лыжи – чтобы тебя волокли на веревке, вы представляете, что это такое. Настоящие фанатики горных лыж, да и того же серфинга, рассматривали водные лыжи как профанацию религии. Чем впрягаться в эту веревку на моторке, не лучше ли сразу в армию махнуть или на лекции в университет? Совсем как те парни, которым непременно нужна мощная тачка или двухмоторный катер, взамен того, чем должна была бы одарить их природа. Выходишь с девушкой в море на таком вот шикарном катере, и – всё, она уже готова, сама распускается; Буг Моран прав, когда говорит, что мы живем в цивилизации пластмассовых фаллосов и прочей похабщины извращенцев, которые существуют вместо, делают вид: автоматизм, коммунизм, родина, Мао, Кастро, и все такое, вся эта дрянь, псевдочлены; Шикс, например, вернулся как-то из Церматта, и все брезгливо плевался, потому что он там занимался любовью с девицей, которая пользовалась презервативом от демократов Коннектикута с надписью *I am for Kennedy*<sup>1</sup>. Вот так, некуда и податься. Ленни пару раз спускался в Женеву, когда Буг Моран уезжал на каникулы в Кадакес, и они уже начинали помирать с голоду. Пришлось дать несколько уроков водных лыж. Это, конечно, весьма прискорбно, но что бы ни делать там, внизу, спускаясь с гор ниже двух тысяч метров, это уже не важно, это не считается. Дома, в снегах, у него был собственный кодекс, как и у остальных парней, но внизу он был готов делать все, что угодно. Он уже был не дома, он был у них. Нужно было приспособливаться. Единственное, что он не принимал ни под каким соусом, это педиков, которые так и липли к нему, но к своей заднице он никого и близко не подпускал, ни Дядю Сэма, ни Вьетнам, ни Армию, ни Полицию, ни педиков. Черт, тебе двадцать лет, и ты смотал из Штатов не для того, чтобы тебя поимела голубая Швейцария, тогда как даже самой большой и могущественной стране в мире это не удалось. Две недели на водных лыжах, три сотни франков в кармане, и бегом обратно, наверх.

Вокруг шале кое-где еще лежал снег, и потом, стоило только поднять глаза, и можно было видеть то, настоящее, вечные снега, как говорят. К трем часам дня весь ледниковый цирк Юнгфрау становился вдруг сразу фиолетовым с зелеными и розовыми подтеками, и веяло такой холодной свежестью, что казалось, вот оно, снова наступило. Грязи уже не было видно.

---

<sup>1</sup>Я за Кеннеди (англ.).

Ночь сходилась очень быстро, но только посередине, потому что вокруг везде был снег, которому до этой ночи – что до фонаря. Он блестит себе, и если луна и звезды подсуеются, вам и желать больше нечего. Все очень просто: нигде ни следа психологии. Только не стоит тепло одеваться, наоборот, надо подпустить холод поближе к телу, чтобы он вас пробрал немножко, тогда вы почувствуете, что находитесь всего в двух шагах от чистоты, даже если у вас за плечами двадцать долгих лет жизни. Само собой, не следует подвергать себя риску и промерзнуть до мозга костей. Нужно уметь вовремя остановиться: хорошего понемножку. Минт Левкович, из Сан-Франциско, переборщил, не рассчитал дозу счастья, и через пять недель его нашли в какой-то затерянной глуши, замерзшим с улыбкой на устах; Буг Моран сделал слепок этой улыбки и держал ее на камине, и она постоянно была у нас перед глазами, как вечное напоминание о том, что это существует, стоит только поискать – и непременно найдешь. Мы долго спорили там, в шале, решая, следует ли отсылать эту идиотскую улыбку Минта Левковича его семье, которая бомбила Буга Морана телеграммами, допытываясь, «как это случилось», но в итоге Буг написал конформистское письмо, в котором сообщал отцу Левковичу, что его сын добровольно подверг себя замораживанию, из протеста против войны во Вьетнаме. Бугу это ничего не стоило, а семье было, наверное, приятно узнать, что сын у них – герой Вьетнамской войны. Вы, конечно, понимаете, что Минту, как и всем нам, было плевать на войну во Вьетнаме с высокой башни. Как можно проявлять интерес к чему-то настолько отвратительному, что и в своей мерзости становится совершенно нормальным? Пусть они провалятся со всей их биологией и этими своими хромосомами; в нашем теремке не нашлось ни одного дурака, который бы считал, что война во Вьетнаме его хоть с какого-то боку касается, если только речь не шла о том, чтобы не отправляться туда. Прав был Станко Завич, когда говорил, что единственное, что имеет значение, это не участвовать во всеобщей демографии, которая как разменная монета: чем больше ее в ходу, тем меньше ее ценность. Сегодня парень двадцати лет совершенно обесценился, их, таких, на свете полно, отсюда – инфляция, и нечего с ней спорить, с демографией, она глупа, она слепа, она накатывает и давит вас. Ленни вовсе не хотел быть кем-то, но еще меньше ему хотелось превратиться в нечто. Станко Завич был славный парень. Он свалил из Югославии при каких-то неясных обстоятельствах, которые не имели ничего общего с политикой; говорили, что здесь была безумная любовь, кинозвезда, первая красавица страны, словом, катастрофа, такая романтическая история, что он в конце концов слинял: все это было так прекрасно, что не могло больше продолжаться. Он писал ей длинные страстные письма, потому что владел стилем и потому что в переписке все выходило гораздо легче: можно было по-настоящему парить в облаках поэзии. Любовь его отвечала в том же духе, посылая ему письма, залитые слезами. Они, правда, пытались построить что-то вместе, эти двое. Девушка гуляла направо и налево, Станко тоже, но им все-таки удалось сохранить свою любовь, спрятать ее в надежное место, в склеп. Даже закоренелый циник Буг сдался, признав, что у них было что-то очень красивое, – а еще говорят, что настоящей любви больше нет! – и Буг объяснял вполголоса, глядя, как Станко играет в шахматы с сыном трактирщика из Дорфа, восьмилетним шалопаем, которому Станко всегда поддавался, чтобы дать ему почувствовать вкус абстрактного, так вот, Буг объяснял, что такие люди, как Станко, однажды соберутся и построят новый мир, где-нибудь, куда ни откуда не доехать, в каком-нибудь другом измерении, настоящий социалистический мир, наглухо закрытый от реальности, и когда все узнают, что такая красота где-то существует, они поймут все величие Ленина. Буг Моран всегда говорил о Ленине, когда он был «под кайфом». ЛСД – еще та дрянь, Ленни как-то раз попробовал, но увидел все то же самое, только в ярких красках, да еще был один странный момент, когда его член вдруг отделился от него, надел его анорак и взял его лыжи; тогда он заорал и бросился отнимать их: он дорожил своими лыжами как

зеницей ока. Чтобы тебя обокрали среди бела дня, к тому же кто-то из своих! Нет, решительно ни на кого нельзя положиться. ЛСД, гашиш и все такое – это как йога. Хорошо для потерянных людей. Он, Ленни, не терял себя. Он твердо стоял на своих лыжах, а что до земли под ними, так ему было все равно, лишь бы снег на чем лежал, а дальше – хоть трава не расти. К сожалению, пришло лето, и земля все больше начинала напоминать о вас, ребята: стоило только высунуть нос на улицу, везде, куда ни кинешь взгляд, проступала эта могильная земляная кора. Ленни больше не выходил из дома. Буг, который был весьма сведущим, составил для него гороскоп, все по-научному, и рассказал, что его ожидало нечто скверное, ему следовало опасаться Скорпионов и Дев, это Ленни и сам знал, но зато ему должно было повезти, при условии, что он будет крайне осторожен и, главное, не поедет на Мадагаскар. Вот чего нужно было избежать любой ценой, так это Мадагаскара. Буг не мог точно сказать, что за ловушка поджидала там Ленни, но знал наверняка, что это было что-то преотвратное. Полезно все-таки было знать это, потому что когда вам двадцать и вы американец, то торопитесь слинять так далеко, как только возможно, и вполне можете попасть на Мадагаскар, так что он был признателен Бугу, что тот его предупредил.

Лето начиналось скверно. Коротышка Куки Уоллес, из Цинциннати, облился бензином на льду и спалил себя живьем, оставив записку, в которой просил парней объяснить все его родителям; а между тем он прекрасно понимал, что это невозможно: его родителям, пожалуй, за полсотни перевалило, ну что им объяснишь? Никакой возможности объяснить подобное людям, которых угораздило родиться так давно, что теперь они уже ничего не чувствовали. Куки сделал нечто вполне понятное, но это было непередаваемо. Невозможно передать словами. Слова лгут, для них врать – что дышать. Но Лех Гласс предложил сказать родителям Куки, что он сделал это из протеста, не уточняя, против чего, потому что мы не знали, каких политических взглядов придерживаются эти люди. И все же мы были в некотором замешательстве, когда получили телеграмму с оплаченным ответом, гласившую: «Против чего этот гадкий мальчишка протестовал?», и подпись: «М-р и Миссис Уоллес». «Тсс, – зашипел Буг Моран, перечитывая телеграмму. – Здесь уже пахнет конфликтом поколений». Буг, не долго думая, решил взять все на себя. Он был против поколений. Он сам составил ответ: «Ваш сын извел себя огнем из протеста против проданной ему зажигалки плохого качества тчк Он умер в ужасных мучениях что объясняет почему его последние мысли были о его дорогих родителях тчк Просьба дорогой мамочке приехать забрать левую ногу более или менее сохранившуюся тчк Уверяем что жертва вашего сына не окажется бесполезной подпись Ассоциация борьбы за улучшение качества зажигалок, Буг Моран, педераст». Швейцарская почта потребовала от Морана, чтобы он убрал слово «педераст». Это их шокировало.

Буг полагал, что Куки не убил бы себя, если бы был снег, но весна, с неременной земляной корой, которая пёрла со всех сторон, его опустила. Потом все мы немного удивились, обнаружив в вещах Куки фото Мэрилин Монро, Парень, оказывается, еще во что-то верил. У него была прочная связь с реальностью. Короче, мы еще держались в нашем редуте, на высоте двух тысяч четырехсот метров, но боевой дух уже испарился. Все сидели без гроша. Единственный, кто кое-как перебивался, был Зальтер, немец, который ушел в снега, после того как двадцать два дня протрубил у Берлинской стены. Стена, однако, не упала, но ведь это был всего лишь символический протест. В итоге с другой стороны стены ему ответила вторая труба, на заре двадцать третьего дня, и даже видели, как какой-то парень, весь в белом, шагает по минному полю, играя на трубе. Блондин. В него не стали стрелять сразу же, он смог доиграть «Saint James Infirmary blues», да, именно это он и играл. Да, признаться, с блюзами и джазом они там, в Восточной Германии, конечно, страшно запаздывают. А потом он подорвался на mine. Это случилось в шесть утра, на двадцать третий день, один парень

находился по эту сторону стены, другой – по ту, разделяемые этим каменным гондоном, и они смогли потрубить вместе какое-то время, за которое, должно быть, успели сказать себе, что ничто никогда нельзя считать совершенно потерянным. Лучшие трубы, кажется, делают в Мемфисе.

Было начало июня, и каждый год к этому времени все собирались у Буга, потому что там можно было есть, пить и спать до опупения. Все прекрасно знали, что Буг Моран – голубой, но он никогда никому не навязывался со своей проблемой. Он только смотрел на вас своими большими влажными глазами, как у здорового сенбернара, который ждет помощи, но никто не заставлял приходиться к нему на помощь, так что это нисколько не мешало. Его шале чем-то напоминало уют, оно предоставляло кров заблудшим всякой масти; кажется, раньше для этого служили церкви, когда они для чего-то еще служили. Последним из прибывших был итальянец, Альдо, у него был перелом позвоночника, и поэтому он изобрел себе собственный, весьма забавный, скачкообразный способ ходить на лыжах, не сгибая спины. Спуститься-то он мог, а вот подняться обратно было сложнее, так что он возвращался в шале Буга только к началу оттепели, когда его втаскивала наверх какая-нибудь парочка приятелей из Дорфа: снег начинал сходить, и на поверхности появлялось множество всяких чудиков. Полиция Дорфа ненавидела нас всем сердцем и спешила выставить парней по малейшему поводу. Как-то они даже приперлись в шале с обыском, в надежде найти там травку или ЛСД, но мы давно уже оставили эти игрушки у папочки с мамочкой. Этот подростковый зуд был далеко позади.

В этом забытом Богом углу даже в сезон сложно было заработать себе на хлеб. Инструкторы-швейцарцы на дух нас не переносили, у них был свой профсоюз; вас же рассматривали как туриста – и никаких уроков. Но мы все-таки выкручивались, кто как может, за смешную цену. Ленни даже проработал два полных сезона, зарабатывая достаточно, чтобы не загнуться с голоду и, кроме того, оставить и для себя три дня в неделю чистого снега, без всяких следов демографии. Трудновато приходилось, но того стоило. Он знал места, где снег сверкает такой чистотой, что там и правда чувствуешь себя в непосредственной близости от чего-то... или кого-то. Эти пустынные уголки полнились настоящей жизнью. Нужно было только не торчать там слишком долго, чтобы не замерзнуть окончательно, достигнув полного удовлетворения. Его старенький анорак кое-где светился дырами, и один бок промерзал у него всегда больше другого. Местные skilehrers<sup>1</sup> ненавидели бродяг, потому что они нравились женщинам, которые находили их «безнадежными». Вокруг них витал дух авантюризма, неудобоваримый для швейцарских желудков. Иногда, обычно по воскресеньям, один из таких «авантюристов» получал хорошую взбучку от аборигенов. Приходилось терпеть, потому что швейцарцу рожу не начистишь. И не думай. После того как Эда Сторика, из Аспена, накрыло лавиной, когда он катался в зоне *verboden*<sup>2</sup> массива Хельмутт, всех бродячих любителей в три недели выгнали в шею с горных склонов, а местная пресса постаралась оградить туристов от «этих так называемых тренеров, неопытных и безответственных, которые не знают самых элементарных правил безопасности». Но все в конце концов устаканивалось. Для Ленни тем паче – женщины видели в нем «птенчика, выпавшего из гнезда».

Так что ничего не оставалось, как запастись терпением и ждать возвращения веселых зимних деньков. Небольшой отряд завсегдатаев был в полном сборе. Последним подвалил Бернард Пиль, «благородный Лорд», как все его называли, англичанин с голубыми глазами, который впервые встал на лыжи в Давосе, где он лечил свой изысканный туберкулез, и теперь отказывался спускаться ниже двух тысяч пятисот метров над уровнем моря, настоящий

---

<sup>1</sup>Инструкторы по лыжам (нем.).

<sup>2</sup>«Запрещено» (нем.).

аристократ с развитым вкусом к высоте. Встретить его можно было только летом, когда он спускался на три сотни метров. Когда же снег возвращался, он исчезал на своих лыжах, только его и видели. Поговаривали, что он как-то раз проделал путь между горой Валли и Штюком в Бернских Альпах, протяженностью в семьдесят километров, там иногда попадаются участки, где надо скользить по узкой, сантиметров в шестьдесят, кромке над пропастью и где знаменитые братья Моссен погибли в 1946-м. Так и складываются легенды: когда никто тебя не видит. Ленни рискнул однажды повторить этот проход, но испугался, и вовремя. Белая гора – настоящая сирена. Зовет, манит. Вершины. Небо. Еще немного – и о Боге думать начнешь. Вопрос высоты.

Каждый год предок «благородного Лорда», то ли граф, то ли маркиз, в общем что-то такое холеное и изысканное, настоящий Кеннеди, приезжал из своего прекрасного родового замка и пытался убедить сына вернуться домой. Бернард был последним в роде. Нужно было его продолжать. «Благородный Лорд» являлся на встречу в своей смешной шапочке с пером, как у берсальера, в красном пуловере и зеленых штанах. Он слушал взволнованный голос родной крови, взывавший к нему, но ничего не слышал. Когда отец заканчивал свою речь, сын отвечал: «Что ж, до будущего года, рад был повидать вас», и уматывал, никто не знает куда. У него явно где-то была «хаза», но даже контрабандисты не могли ее обнаружить. Он напоминал легендарного Грютли, первого человека, вставшего на лыжи и только что не канонизированного швейцарским Бюро по туризму. Бродяги, в основной своей массе, старались не учить языков, чтобы не попасться на всякие примочки, без которых нет ни одного словаря, но он-то не ваш, и падает вам на голову как неожиданное наследство. Мы говорим всегда языком других, вот что. Вы здесь ни при чем, в языке ничто вам не принадлежит, слова – просто фальшивая монета, которую вам подсовывают. Везде одно предательство. Буг Моран заявлял, что величайшим человеком всех времен был один француз в XIX веке, которого называли пукмен, потому что он мог свободно изъясняться, выпуская газы с безграничным разнообразием модуляций, почти как Чарли Паркер, который мог высказать все, дуя в свою трубу. Так вот, этот друг мог пропукать «Марсельезу», «Звездно-полосатое знамя», «Боже, храни королеву»<sup>1</sup>, настоящий пророк, кажется, он все предусмотрел. А вот «благородный Лорд» знал пять языков, и всё из-за воспитания, которое получил. Но эта сволочь вообще не открывала рта. А приятия жизни у него было даже больше, чем у самого крепкого из нас, хотя рассчитывать он мог только на одно оставленное ему лекаришками легкое. Славный малый, одним словом.

Люди из Дорфа говорили на швейцарском варианте немецкого и почти не знали английского, и это заметно облегчало вам жизнь. В Штатах проблема языка была огромна. Кто угодно мог подойти к вам и заговорить, вы немедля оказывались в руках первого попавшегося мерзавца, которому приспичило вас поймать. Людям нравился Ленни, Буг говорил, что это оттого, что он симпатичный и трогательный, знаете, из тех блондинов под два метра ростом; женщины сразу начинали испытывать к нему бурные материнские чувства, и в Штатах, где не было языкового барьера, защищаться было нелегко. Он три сезона подряд проторчал инструктором в Аспене, и это оказалось почти невыносимо: они все там были как одна дружная семья, к которой вы тоже должны были примкнуть, просто кошмар какой-то. В итоге он постоянно вынужден был их огорчать. Нет, спасибо, я не хочу приехать на две недели погостить к вам во Флориду, все, что находится ниже двух тысяч метров, мне как-то по барабану, и вы, получается, тоже.

Но летом, летом был закон джунглей, и бродяги убирали свои принципы подальше, вместе с лыжами. Там, где нет снега, нет больше и стоящих принципов. Какая разница? Были и такие,

<sup>1</sup>Государственные гимны Франции, США и Великобритании.

которые шли работать или, того лучше, женились на местной девчонке, с крепкой попкой и хорошим передком, которая помогала им кое-как дожить до начала сезона, а потом – только их и видели! Безнравственно? Шутите, что ли? Настоящий скиталец снегов, ski bum, как нас обычно называют, настоящий фан плюет только так на все, что ему приходится делать внизу, на земле. Ноль метров над уровнем дерьма, какая разница, за что ни возьмись, нужно уметь приспособливаться. Ниже отметки в две тысячи метров единственное, что важно, это не дать себя поймать в ловушку. Как Ронни Шен, который раз спустился в Цюрих, в мае прошлого года, а потом, через полгода, его нашли мертвым: за прилавком в отделе канцтоваров, женатым и продающим карандаши. Загнулся парень. Его зачислили в пропавшие без вести и перестали о нем вспоминать, разве только чтобы поугадать салажат. Мы нашли у него в вещах адрес его родителей в Солт-Лейк-Сити, но не стали ничего им рассказывать, Буг просто написал им, что их сын погиб на пешеходном переходе. Зачем было огорчать стариков. Ленни иногда спрашивал себя, почему большинство скитальцев снегов – американцы, и приходил к выводу, что с такой огромной и мощной державой, стоящей за вами, единственный выход – бежать. Америка – замечательная страна, и там у вас нет ни одного шанса выкарабкаться, ну просто ни одного. В Европе – еще куда ни шло, сначала по крайней мере: раз ты американец, тебя принимают за полного идиота, особенно во Франции, так что достаточно надписи на лбу, чтобы на тебя смотрели со снисходительной улыбкой и не трогали. И все же несколько слов можно сказать в защиту престижа. Чем еще в Европе хорошо, так это тем, что там у них есть «американская мечта». Они борются, чтобы иметь стиральную машину, новое авто, за то, чтобы покупать всякую дрянь в кредит. И потом, с девушками там тоже проще, потому что француженки знают, что американцы – идиоты, и быстрее ложатся с ними, у них есть чувство защищенности. Первое, чего женщина во Франции требует от вас, когда она позволила себя трахнуть, так это уважения. Почему? Ленни толком не знал. Француженки в постели хороши, как и все остальные, но после они вам говорят: «Что вы обо мне подумаете», как будто вы собираетесь писать отчет об их манере заниматься любовью. Когда француженка переспит с кем-нибудь, она вскакивает и бежит мыться, это уже как ритуал. Франция – страна истинно католическая. У них нет расовых предрассудков. Американские негры в Париже рассказывали Ленни, что им ничего не стоит снять любую понравившуюся девчонку, потому что те потом легко могли морально оправдать себя тем, что с черным это было не так важно, это как бы не считается. Французы просто рвут и мечут, когда женщина обманывает их с другим французом, но когда это негр, они только посмеиваются. Это разные вещи. Вопреки тому, что говорят в Штатах, французы вовсе не ненавидят иностранцев, они их терпят, это люди терпеливые. Французы как будто над тобой подсмеиваются, потому что ты американец: их всех, бедных, на войне поубивало. Ленни никогда не мог устроиться ни на лыжных базах во Франции, ни во Франции вообще. Чтобы удовлетворить французов и не разочаровать их, приходилось прилагать невероятные усилия, поддерживая репутацию американской глупости, и его это достало – в конце концов, он ведь не посол Соединенных Штатов, пусть и делает свою работу, при чем тут Ленни, и потом, в конце концов, они для этого и открыли в Париже Американский культурный центр! В Швейцарии все было гораздо проще. Все швейцарцы считали себя основательными дураками и были вполне уверены в себе, это вам не французы, которых требовалось постоянно ободрять. Ленни во всяком случае был несколько обескуражен тем, что люди сразу и бесповоротно находили его симпатичным. В ресторанах его приглашали за свой стол, предлагали выпить, как будто он представлял собой нечто, чего им всем шибко не хватало. Он был метр восемьдесят восемь ростом, блондин, и ему часто говорили, что

он напоминал Гари Купера<sup>1</sup> в молодости. Этот Гари Купер был единственным человеком, до которого ему самому было дело. У Ленни даже была его фотография, которую он часто доставал и разглядывал. Парни у Буга Морана подтрунивали над ним – что за глупость, правда?

– На что он тебе, этот Гари Купер? – спрашивал Буг.

Ленни не отвечал и аккуратно убирал фотографию.

– Знаешь, что я тебе скажу, Ленни? С ним уже всё, с твоим Гари Купером. И навсегда. Кончился спокойный американец, уверенный в себе и в собственной правоте, который против злых, всегда за доброе дело, и который заставляет торжествовать справедливость и всегда в конце побеждает. Прощай, американская уверенность. Теперь у них Вьетнам, взрывающиеся университеты и гетто для негров. Чао, Гари Купер.

Парни замолкали. А Ленни поворачивался к ним спиной, делая вид, что роется в рюкзаке.

– Что там Кеннеди с его новой границей, когда все кончено, – продолжал Буг, – гудбай, спокойный герой, без страха, без упрека и твердый как скала. Теперь у вас Фрейд, тревога, сомнение, дерьмо, короче. Америка теперь как все. Гари Купер умер, а вместе с ним и все, что он олицетворял, спокойную американскую уверенность. Нас всех надули. Новая граница – это ЛСД. Так что ты с этой своей фотографией. . . Брался бы сразу за Библию, чего уж там! – Он всех приглашал в свидетели: – Понимаете, парень бежал из Америки, только пятки сверкали, однако ж захватил с собой фото Гари Купера! Швах дело, верно?

– Оставь его в покое, Буг. А то мы подумаем, что ты в него влюбился.

Они ждали, что Ленни начнет защищаться. Но Ленни молчал. Ему не хотелось объясняться. К тому же что тут скажешь? Все было совершенно ясно, то есть совершенно необъяснимо.

Удивительное дело: несмотря на всю пропаганду, Ленни везде, где бы он ни оказался, обнаруживал, что американцы были весьма популярны. Всюду было полно людей, которые спешили к нему, улыбаясь во весь рот, дружелюбно хлопали его по спине, так что приходилось быть крайне осмотрительным, чтобы тебя не приписали обратно, к Америке.

– За что они все так любят американцев, Буг? Просто невероятно. Что мы им такого сделали?

Буг лежал, разложив на диване все свои сто килограммов, и пытался дышать. Каждый раз, как воздух проникал в него, раздавалось «ш-ш-ш». Воздух сопротивлялся, это нормально. У Буга была аллергия на все. Врачи говорили, что никогда не сталкивались с подобным случаем. Например, у него была аллергия на фекалии, чего никогда не наблюдалось за всю историю медицины. Все люди с начала времен, от святых до всех прочих, прекрасно переносили продукты собственной жизнедеятельности и не жаловались, но только не Буг. Он тут же начинал задыхаться. Это, конечно, удар ниже пояса для человека. Альдо находил в этом настоящую греческую трагедию.

– Странный ты, Ленни, ш-ш-ш. Людям нравятся, ш-ш, вовсе не американцы, ш-ш, а *один* американец, ш-ш-ш. Ты. Все, ш-ш-ш, находят тебя симпатичным. Ш-ш-ш, черт бы вас всех побрал, кто-то опять вяпался, ш-ш. Не иначе. Я задыхаюсь.

– Это ты, Буг.

– Как это я, ш-ш-ш? Что это значит?

– У тебя аллергия на тебя самого. Ты не выносишь сам себя. Ты мизантроп.

– Да, ш-ш-ш. Наверное. Ну так вот, Ленни, людям нравишься ты.

– А что со мной не так?

<sup>1</sup>Гари Купер (1901-1961) – американский актер, воплощение мужественности, сдержанности и справедливости.

– У тебя что-то чистое в лице. Видишь, я смотрю на тебя и перестаю задыхаться. Есть что-то ангельское в твоей мордашке, мерзавец ты этакий.

– Не накручивай, Буг.

– Ты прекрасно знаешь, семью я не трогаю. Семья – это святое. Вы для меня как братья.

Это правда, у Буга водились свои тараканы, но не на такой высоте. А то, что он делал, спускаясь ниже двух тысяч метров, никого не касалось. Внизу надо было приспособливаться, это не считалось.

Родители Буга построили для него это шале на высоте две тысячи триста метров, потому что в такой атмосфере не должно было быть астмы. Но Буг все равно умудрялся и тут задыхаться, его психиатр в Цюрихе говорил, что это от идеализма. Он отказывался принимать себя таким, каков он есть. Он был противоестественен, но это была противоестественность элиты. Словом, тотальное невезение. Шале, должно быть, влетело заказчикам в кругленькую сумму. Каждый камень нужно было поднимать на санях. Шале возвышалось как крепость на скале, а ближайшее селение Веллен находилось семьюстами метрами ниже. Отсюда был виден Эбиг, облака плавали где-то под ногами, и уже вокруг не было снега, как, впрочем, и всюду, разве что в Гималаях. Все было по высшему разряду. Невообразимые ванные комнаты, экстравагантная мебель, аукционные картины, даже унитады были такие шикарные, что, садясь на них, начинал испытывать угрызения совести: чувствовал себя садистом. Буг Моран был богат донельзя, однако следовало признать, что переносил он это прекрасно. Было в этом нечто здоровое и оптимистичное: парень, который был миллионером и запросто плевал на голод в Индии. Впрочем, большинство людей запросто плюют на голод в Индии, только у них нет ни гроша.

Этим летом он вернулся из Цюриха с каким-то чокнутым, который опубликовал два сборника своих стихов, и еще у него был такой железнодорожный билет, с которым можно разъезжать по всей Европе столько раз, сколько захочется, если заплатил в долларах. Парень совсем сбрендил, все время пересаживаясь с одного поезда на другой, он хотел окупить потраченные деньги и уже не мог остановиться. Если бы Буг не встретил его в сортире на вокзале в Цюрихе, куда он регулярно навещался, парень сел бы в очередной поезд и катался бы до одурения, так что в конце концов его пришлось бы прикончить револьверным выстрелом. Он съезжал с катушек при мысли, что через несколько недель билет его будет уже недействителен, он уже впал в истерику, и Бугу ничего не оставалось, как слегка его «успокоить», чтобы помешать ему влезть в экспресс Цюрих-Венеция, которым он уже успел смотаться туда четырнадцать раз. Буг привез его в шале, и поначалу мы его даже привязывали: он орал, что опоздает на поезд и билет действителен только до конца августа. Буг напичкал его успокоительным, но так как этот шизик вот уже девять месяцев жил на одних транквилизаторах, то вместо ожидаемого эффекта он просто слетел с катушек. Буг говорил, что вот, дескать, докатились, и скоро нужно будет давать транквилизаторы транквилизаторам. В итоге парень все-таки успокоился и, поинтересовавшись, где он находится, – он думал, что в Дании, – тут же принялся говорить с Бугом о поэзии. Мерзость, одним словом. Вдобавок парня звали Аль Капоне, и это был даже не псевдоним, его правда так звали. Ну, представляете: Аль Капоне, читающий стихи на высоте две тысячи триста метров – здесь-то хотя бы имеешь право дышать чистым воздухом или нет? Ленни не был за гангстеров, и потом, на Америку ему было наплевать, но тут все-таки Аль Капоне: есть вещи, которые трогать нельзя. Ну так вот, – стихи. И это не все. Этот красавец – весь в бороде, с красной точкой Брахмы между бровями, и все еще воняет туннелем: все его вещи прокоптились до крайности – сразу пустился в философию. Буг, сам того не подозревая, притащил им хиппи, а надо сказать, если было на свете что-то, чего бродяги, настоящие, на дух не переносили, так это как раз хиппи – эти все

были фашисты, ну, понимаете, те, кто рвется спасти мир, строить новое общество, короче, дерьмо дерьмом. Как будто наше собственное мало воняло.

– Вы все мерзавцы, потому что хотите быть счастливыми. Лыжи, бегство на высоту, чистый воздух, от вас несет этой радостью жизни. Я категорически не приемлю счастья. Счастье хорошо для безмозглых идиотов, наивных простаков, всех этих собак, пролетариата и буржуазии. Я свободный человек. Я отказываюсь быть рабом счастья. За всякое счастье нужно платить: ты счастлив, радуешься жизни, и это конец бунту. Там, где счастье, нет места бунту, и ручаюсь, что вы не докажете, что это не так. Счастье – это опиум для народа, застой, тогда как несчастье – двигатель прогресса, это жало, толкающее вас вперед. Попробуйте докажете, что это не так.

Альдо тут же расставил все по своим местам.

– Слушай ты, гнилой свисток, мы здесь *счастливы, в Швейцарии, нелегально* счастливы. Доходит? Мы здесь не затем, чтобы делать народы счастливыми. Это к полиции, насчет счастливых народов. Мы никому не делаем зла, мы не занимаемся народами, у нас руки чистые. Если ты найдешь здесь, среди нас, хоть одного, кто сделал что-нибудь против народа, то есть для народа, – что, в сущности, одно и то же, – он вылетит отсюда сию же минуту.

Мы посмотрели друг на друга, но не успокоились. Предатели везде встречаются. Бадди Шикс сильно покраснел:

– Ладно, я был на войне во Вьетнаме, но я не делал это для кого-то. И потом, я дезертировал сразу, как только представилась возможность.

– А! – победоносно заорал Аль Капоне, прокурорским жестом ввинчивая в него палец. – Ты дезертировал, значит, ты был против, ты не хотел убивать вьетнамский народ!

– Да нет же, я просто боялся, как бы меня самого не хлопнули, вот и все! Этот вьетнамский народ я и в глаза не видел, мы бомбили с расстояния в десять тысяч футов!

По этому поводу Капоне совсем уж углубился:

– Я, дети мои, я – за разложение, за коррупцию, за гниение и смерть. Другими словами, я за реальность. Трагедия Америки в том, что она слишком юная – быстро не загнить, поэтому там нет великих людей; чтобы получить великого человека, нужно иметь за плечами века разложения, навоза, так сказать, только на такой почве вырастают небывалые цветы: Ганди, де Голль, Битлз, Наполеон. . . Эти великие люди, все они вышли из глубин восхитительной пакости, двадцать веков гнили, крови, компоста истории, культуры, одним словом! Нужно, чтобы Америка сейчас же начала разлагаться, и все мы должны этому способствовать, тогда здесь появятся дивные стихи, Рембо, необыкновенно одаренные художники, а значит – героин, ЛСД, тетрахлориды, скорее, чтобы надо же стать кем-то!

Тут-то Ленни и свернул ему шею. Это было невероятно, потому что Америка для него была пустым звуком, но был там один парень, которого он уважал, хотя тот уже скончался; ради Гари Купера он и свернул шею этому сбившемуся с дороги сперматозоиду. Никто никогда ни на кого не нападал в доме Буга, и Бугу стало плохо, пришлось делать искусственное дыхание «рот в рот», еще то удовольствие, потому что о хлебальнике Буга лучше вообще даже не вспоминать, а потом вдруг заметили, что Буг провалился куда-то очень уж далеко: он глядел одним глазом, и ему, негодяю, было там куда как хорошо, но, в конце концов, он был почти святой, Буг. Но самым бредом было, что Аль Капоне клялся, будто он не верил ни в одно слово из того, что наговорил, он-де всего-навсего провоцировал, чтобы его опровергли и таким образом завязался бы возвышенный и плодотворный разговор. Невероятно, сколько глупости может уместиться в одном идиоте! Хватило бы на целый народ.

Парни попытались выпереть Аль Капоне, напомнив ему, что срок действия железнодорожного билета заканчивался и пора-де на поезд, но этот вредный бородатый карлик встал в позу

и торжественно заявил, что «он уже приехал». В подтверждение этот прохвост снял со лба красную мушку Брахмы, которую носил между своими сраными бровями, – знак, который, судя по всему, обозначал: «Я паломник в поисках правды». Так вот, он ее нашел. Еще бы! Нашел себе теплое местечко. Потом он принялся читать им в полный голос страницы из своего «Духовного воплощения». Все смотрели на него, смотрели и считали поезда, на которые он не успел.

Что поделаешь, – лето. Время тяжелых испытаний. Совершенно некуда было податься. В Веллене остались одни швейцарцы, а к их девчонкам нельзя было и близко подойти, потому что они их всех пересчитали и знали точно, сколько их там. К счастью, Буг каждый день получал новые пластинки, и самые лучшие, к тому же которые еще никто не слышал, но которые скоро должны были стать хитами, гениальные музыканты, каких еще не было: Миша Бубенц, Арх Метал, Стан Гавелка, Джерри Ласота, Дик Бриллиански, вы еще услышите эти имена, клянусь, о них еще будут говорить, когда никто уже не вспомнит, кто такой де Голль, или Кастро, или этот, из Китая, как бишь его там. . .

Ночью он уходил на своих лыжах под звезды. Днем на склоны Хайлига выходить было нельзя, *verboden*, из-за лавин. Но Ленни знал, что с ним ничего не случится. Он чувствовал это всем телом. Буг сильно переживал за него, полагая, что в нем говорит молодость, а этой старой хрычовке не стоило доверять: стерва известная, такую свинью подложит – не обрадуешься. Но Ленни был в себе уверен. О'кей, он, конечно, навернется когда-нибудь, но только не наверху, смерть поджидала его где-то внизу, вместе с законами, полицией, оружием, смерть была приспособленкой, разумеется, она сама была законом, одним из многих. Вот он и уходил, предварительно пообещав Бугу, что будет соблюдать его гороскоп, избегать Дев, Рыб и Мадагаскар. Он ускользал в синюю ночь, на склоны Хайлига, и гора смотрела на него, затаив свои лавины. Она знала, что это – друг. Когда Ленни катался ночью, с ним происходило что-то странное. И после он старался об этом не вспоминать. Конечно, он не верил в Бога, однако у него сложилось такое впечатление, что вместо Бога все-таки был кто-то или что-то. Кто-то или что-то другое, совершенно иное, чем еще не успели воспользоваться. Он чувствовал это так сильно и с такой очевидностью, что не понимал, как люди еще могли верить в Бога, когда существовало нечто настолько замечательное и настоящее, что-то, в чем абсолютно невозможно было усомниться. Люди, которые верили в Бога, в сущности, ведь были атеистами.

Так он и пропадал до того часа, когда там, внизу, в долине, начинал раздаваться звон колокольчиков черной и белой собак, на которых возили в Веллен молоко. Тогда он возвращался и ложился спать, пристроив лыжи рядом с собой. Он никогда со своими лыжами не расставался. Они были ему настоящими приятелями, он любил их как живых, в каком-то смысле. Хорошая была парочка. Фирмы «Циффен». Они были немного обшарпанные, но он к ним привык, притерся. Невозможно жить с кем бы то ни было, не идя на всякие маленькие уступки.

Было время, за несколько месяцев до того, когда он мог отправиться на ночь к Тилли, официантке из бара отеля «Линден», которая у вас под руками, настолько она была еще неза-лапанная; но вскоре он начал испытывать беспокойство, и это портило ему все удовольствие. Это дело тоже может портиться.

В начале с Тилли все шло прекрасно, он провел с ней несколько замечательных минут. Альдо говорил, что настоящий социализм – это когда пользуешься и радуешься, до или после, неважно, полная неразбериха. С Тилли было замечательно, но он быстро почувствовал, что все это плохо кончится, потому что у нее была какая-то особая манера смотреть на него, проводить взглядом по его лицу, замечая каждую черточку, прикасаться к его телу так, как

если бы она уже составляла реестр. Швейцария, и не будем забывать об этом, – страна собственности. Нос, уши, пупок, пальцы ног – всё; он спрашивал себя, что, если как-нибудь веселеньким утром он окажется разложенным по полочкам в ее шкафу. Что до его штуки, это просто невероятно, как она на нее смотрела, как на свою чековую книжку, честное слово. Тилли говорила только на швейцарском варианте немецкого и на французском, а Ленни не знал ни того, ни другого, так что с этим языковым барьером между ними они прекрасно ладили, в отношениях между людьми ничего лучше и не придумаешь. Но она подсунула ему подлянку. Она купила лингафонные пластинки и изучала их тайком, а потом, когда он совсем этого не ожидал, как заговорит с ним по-английски – бац! прямо с листа. Все пропало. Люди ничего не ценят, взаимные отношения. . . да они даже не пытаются их уберечь. Ну и пошло: да, Тилли, я тоже люблю тебя, конечно, Тилли, я буду любить тебя всю жизнь, честное слово, ты классная девчонка, Тилли, ну да, я знаю, что ты готова на все ради меня, ты готовишь замечательное фондю, а сейчас, извини, здесь так душно, я задыхаюсь, и потом, меня там один человек ждет, в Дорфе, на тренировку, я должен идти, до скорого, пока, да, ну конечно, я твой, Тилли. До встречи. Короче, все полетело к чертям. Невозможно стало любить друг друга по-настоящему. Парень, который изобрел лингафонную методику, стал врагом рода человеческого, разрушив языковой барьер, отравив романтические отношения и испортив самые прекрасные истории любви. В общем, парень из тех, для кого ничто не свято. Должно быть, где-нибудь руки потирает: разрушил еще один очаг. В конце концов Ленни решил бросить Тилли. Он больше не мог этого выносить, как будто у него все руки были в клею. Досадно. Она и правда готовила замечательное фондю. И он часто думал о ней, когда был голоден. Два-три раза она даже приходила к нему туда, на трассу, когда он давал уроки, и он сказал ей, что все кончено, и у счастья все же есть свои границы, не следовало перебирать.

– Пойми меня правильно, Тилли. Ты здесь ни при чем. Ты классная девчонка. Мне никогда другой такой не найти. Такие, как ты, Тилли, встречаются раз в жизни, вот только нужно ее пропустить. Я хочу сказать, что если не пропускаешь, то совершенно теряешь голову и сходишь с ума от любви, да. У меня еще есть жетоны.

– Но почему, Ленни? Я так тебя люблю. Я твоя, вся и навсегда.

У него мурашки побежали по коже. Зачем она стала ему угрожать?

– Я не могу тебе этого объяснить, Тилли. Я слишком глуп. И потом, я не умею говорить. Я даже сам с собой не разговариваю. Мне нечего себе сказать.

– Боже мой, но что я такого сделала? Я никогда никого не любила как тебя, Ленни. Никогда.

– Послушай. Моя мать помешалась от любви к одному мужику, мне тогда было десять, и что же с ней стало? Я не знаю, что с ней стало, вот что.

– Ленни, не все женщины такие, и. . .

– Не плачь, Тилли, это может испортить мне все дело. Никто не станет меня брать, если увидят, что я уже занят. Добрые дамочки, когда выбирают себе инструктора, они хотят кого-нибудь свободного.

– Можешь спать со всеми женщинами, с кем захочешь. Мне все равно. Я знаю, что работа прежде всего.

– Я никогда не сплю с ними. Я не профессионал. У меня нет удостоверения.

– Ленни. . .

Нет, ей невозможно было что-либо объяснить. Для этого было одно слово, которое придумал Буг Моран. Отчуждение. Это значит, что вы ни с кем, против никого, за никого, вот. Буг говорил, что главная проблема в юности – это отчуждение, то есть как его достичь. Это очень сложно, ко когда наконец получается, это так хорошо, что лучшего они не могут вам

дать. Запомните это слово: отчуждение. Сообщите мне, если что услышите.

Поначалу ему недоставало нежного, горячего тела Тилли, он даже мерз больше обычного, в своем дырявом анораке. Но на этой земле не было ничего такого, от чего он не смог бы отвязаться, даже от себя самого, когда вставал на лыжи; и потом, у него завелись деньги: немецкая чета с тремя детьми, которым он очень понравился, а еще он проделал путь от Веллена до Бруа, в кантоне Гризон, спал в овчарнях, где зимой никого нет. Он провел две недели в таком одиночестве, что были моменты, когда он чувствовал, что жизнь удалась. Со стороны Больших Моласс, там, где скованный льдом ручей под названием Молассон нашептывает что-то из-под льда, стоит только приложить ухо и прислушаться, – никто никогда не видел Молассон, даже летом, он возвращается под землю, не выходя из вечных снегов, но слышать его можно весьма отчетливо, и создается впечатление, что ему есть что порассказать, – так вот, там, около Молассона, была такая красота, что смотреть на это – все равно что получать возмещение убытков натурой. Это были уже не цвета и не свет, клянусь, но что-то, что еще никогда не использовалось. Конечно, это было что-то научное, оптическое, атмосферное и все прочее, развенчивающее загадку, но это было самое красивое из всего, что он когда-либо видел, из серии: жизнь-стоит-того-чтобы-быть-прожитой. Длилось это недолго, каких-нибудь двадцать минут, свет ушел, но и того было достаточно, чтобы подзарядить батарейки. Теперь он мог спускаться. Он взял свои палки и уже собирался тронуться в путь, как вдруг заметил, что он был не один. Там был еще один друг, который пришел за утешением. Благородный Лорд, в вечной своей шапочке с пером. Они поприветствовали друг друга издали, старательно сохраняя расстояние. Частная жизнь человека – это святое.

На обратном пути он чуть было совсем не замерз. Поначалу холодно, конечно, но мало-помалу становится так, будто плывешь под водой, но не чувствуешь уже ни воды, ни собственного тела, ничего, кроме какой-то вязкости вокруг, чего-то вроде вечности. К счастью, он понял, что это было: это был Мадагаскар. Пресловутый Мадагаскар, тот самый, из его гороскопа, тот, который ему следовало любой ценой избегать. Этот гад Буг знал, о чем говорил. Гороскоп – это тебе не лапша какая. Значит, правда, Мадагаскар для него – это конец. Он встряхнулся, начал петь и уже в сгущавшихся сумерках добрался-таки живым до жилища Бенни, и там этот толковый бородатый адвокат из Лиона угостил его *касуле*, французским рагу, запомните хорошенько это название, я вам дряни не порекомендую, *касуле* называется. Что ни говори, а один раз упомянуть об этом стоило.

Адвокат в самом деле был славный малый, лысый до самой бороды: когда он увидел входящего Ленни, он схватил его под мышки, чтобы не дать упасть, стал растирать, а потом поставил перед ним дымящуюся миску, и там была фасоль, и колбаски, и утка, а сама миска во такая здоровенная, и полная до краев, и вообще, вкуснее *касуле* ничего и не придумаешь, это одно из великих имен в истории Франции, как Жанна д'Арк, к примеру.

Адвокат говорил с ним об Америке, которую прекрасно знал, потому что никогда там не был, что к тому же открывало перед ним широкие перспективы. Америка – страна, куда не надо ехать, чтобы узнать ее, потому что она экспортируется везде и всюду, ее навалом во всех магазинах. Ленни согласился: у него был такой принцип – всегда соглашаться, когда он не был согласен, потому что парень, высказывающий idiotские предположения, всегда оказывается ужасно щепетильным. Чем больше у человека idiotских мыслей, тем охотнее следует с ним соглашаться. Буг говорил, что величайшая духовная сила всех времен была за idiotизмом. Еще он говорил, что следовало расстелиться перед ней и уважать ее, потому что никогда не знаешь, что она еще может выкинуть.

– Как я понимаю молодых американцев вашего возраста, которые спасаются от материализма своей страны! Вы потерянное поколение.

Буг Моран говорил: «Каждое поколение – потерянное поколение. Именно так оно себя и распознает, поколение то есть. Когда же чувствуешь себя еще более потерянным, вот это уже плохо. А поколения, которые не чувствуют себя потерянными, это полное дерьмо. Мы, дети мои, совершенно потерянные, но ведь совершенно! Это доказывает, что в нас кое-что есть.

– *Yes, Sir*<sup>1</sup>, – бубнил Ленни, уплетая касуле.

– Вы должны переделать Америку, полностью с самого основания, и это нормально, что некоторые, как вы например, бегут от этого страха и от этой ответственности и что я встречаю вас полузамерзшим на склонах Больших Моласс, Но однажды вы вернетесь в Соединенные Штаты и приметесь за дело.

«Здравствуйте, пожалуйста!» – думал Ленни.

– Так точно, сэр, я собираюсь вернуться и приложить все усилия.

Бородач, зацепив кончиком ножа кусочек мороженого масла, смотрел на него сквозь свои очки в черепаховой оправе с той доброжелательной и немного ироничной улыбкой, которую всегда увидишь на лице француза, когда он говорит как француз. Это такая улыбка, какую мог бы иметь, скажем, горгонцола<sup>2</sup>, выдержки лет так под тысячу, если бы у него еще были силы улыбаться, а не только молча вонять,

– Заметьте, все еще не безнадежно. До сегодняшнего дня Америка идентифицировала себя, в лице своих президентов, с отцом. Отсюда громадная популярность Эйзенхауэра. Благодаря Кеннеди она впервые стала идентифицировать себя с сыном, братом. . . Это огромная перемена.

«Господи Иисусе, – подумал Ленни, – так и есть. Приехали». Психология. Социология. Психоанализ. Покажи мне свой хвостик, я покажу тебе свой. И никакой возможности от них оторваться. Это просто невысказано. Они построили такой глупый, такой отвратительный мир, что это уже настоящий Мадагаскар, набитый злосчастными девами и рыбами, а тебе остается лишь чудом уцелевшее отчуждение, если еще сумеешь его найти и сберечь; и они еще лезут со своими наставлениями в психологии, в политике, объясняют, что не так, как будто что-то может быть «так», кроме великой духовной силы всех времен, как говорил Буг.

Политика? Ленни не понимал, как вообще можно было об этом говорить, принимая во внимание, что ее делали сумасшедшие, и из каждого угла дико выглядывал ненормальный Франкенштейн, но у него была слабость к Кубе и Кастро, потому что они спасли его из порядочной переделки. За несколько месяцев до того ему случилось переспать с одной французенкой в каком-то шале, в Венгене, а утром, выходя от нее на цыпочках с ботинками в руках, он столкнулся с ее мамашей. Отрицать что-либо было бесполезно, тогда он попытался отделаться извинениями, задоблив старушку какими-нибудь приятными словами, на французском, но все, что он смог изобразить, было: *merci beaucoup*<sup>3</sup> – пожалуй, единственное, что он знал. Это, конечно, было совсем не то, что жаждет услышать мать в данных обстоятельствах, но было уже поздно, он это сказал, и мамаша принялась вопить во все горло, так что он уже не знал, куда деваться; в конце концов он добавил: *à votre santé*<sup>4</sup> – еще одна фраза, которую он знал по-французски, и стал ждать, весьма гордый собой, даря ей одну из тех широких, невинных, очень американских улыбок, которые должны проникать вам прямо в сердце. Как бы не так! Почтенная мадам совсем взбесилась и стала звать своего мужа. К счастью, была Куба. Там, на Кубе, вероятно, как раз в то самое время что-то произошло или, наоборот, не произошло – война, которая должна была начаться, но что-то не сработало, русские не захотели играть и отвалили. Да Ленни и неважно было, что у них там не заладилось. Он был за

---

<sup>1</sup> Да, сэр (*англ.*).

<sup>2</sup> Сорт итальянского сыра.

<sup>3</sup> Большое спасибо (*фр.*).

<sup>4</sup> Ваше здоровье (*фр.*).

то, чтобы не воевать, неизвестно где и неизвестно за что. Он стоял на лестнице с ботинками в руках, в незаправленной рубашке и с глупой улыбкой на лице, одной из тех, американских, что больше всего ему удавались, типа «эти-люди-они-большие-дети»; он так улыбался, что у него аж челюсти свело, то же, должно быть, чувствуют путаны к концу рабочего дня. Но мамаша не унималась, и отец наконец-таки вышел, прямо в пижаме, плюгавенький коротышка с черными усиками и голым пупком, один из французов такого армянского типа, и жена все ему рассказала, в подробностях, будто сама при том присутствовала. Сердце матери чувствует такие вещи. Она всхлипывала и вообще вела себя так, словно это случилось с ней впервые, с дочкой, я хочу сказать, что было совершеннейшей и восхитительной ложью; эта девица... у нее не просто был опыт, у нее была уже своя История, целые века за плечами, как, скажем, у де Голля, ей нечему было учиться у кого бы то ни было. Тут на лестнице появилась сама девица, с помятым лицом, полуголая, ни дать ни взять – изнасилованная девственница, ясно как день, стоило только взглянуть на нее. Они всегда становятся потом девственницами, эти бедняжки изнасилованные, так уж заведено. Ленни сразу перестал улыбаться, то есть он думал, что перестал, потому что на самом деле его сфинктеры парализовало страхом, и улыбка, сломавшись, так и осталась на лице, немного покосившись. На горизонте замаячили полицейские, тюрьма и конец отчуждению. Ленни сделал необычайное умственное усилие, чтобы сказать им по-французски что-нибудь, что все бы уладило, что-то действительно очень французское, нечто одобряющее в адрес всей Франции, по все, что ему удалось вспомнить, это Альберта Швейцера и Мориса Шевалье, что, конечно, не создавало достаточно твердой почвы для встречи с союзником в столь прискорбных обстоятельствах. Его спас Кастро. Он скромно вытирал полый рубашки помаду со своих губ и чувствовал, что ему конец, но отец девицы внимательно смотрел на него, с ужасно обеспокоенным видом, а потом спросил, важно так и с упреком:

– Вы американец?

– Yes, Sir, – ответил Ленни, говоря себе в то же время: «Ладно, подмял девчонку, но это же не Вьетнам, в самом деле».

Папаша какое-то время, щурясь, смотрел на него, а потом спросил, и правда, встревоженный:

– Как вы думаете, точно будет война из-за этих русских ракетных установок на Кубе?

Он расцеловал бы этого барбудос, будь он сейчас рядом. Cuba si!<sup>1</sup> На этот раз он был по-настоящему за. Он поспешил подбодрить старика. Он отвалил ему громадную дозу того старого американского оптимизма, которым они у себя, в Европе, успокаиваются. Для начала – никакой войны на Кубе, затем – мы ее выиграем, эту войну, потому что мы, американцы, еще ни одной войны не проигрывали. К тому же и Вьетнама осталось на каких-нибудь четверть часа, мы уже практически выиграли, все генералы Пентагона сходятся на этом, нужно только подождать, пока противник выкинет белый флаг. Старик проводил его до двери, долго жал ему руку, славный Ленни мог даже спокойно обуться. С девушкой он больше не встречался: неудобно, он ведь знал теперь ее родителей.

Это приключение утвердило его в мысли, что есть еще люди на земле. Или, скорее, оно подтвердило объяснение, которое как-то дал этому Буг. Все люди без исключения были *сюрреалистами*. Ленни не очень хорошо понял, что это такое, сюрреализм, но Буг заверил его, что это и был всего лишь сюрреализм, и ничего больше: и понимать тут нечего. Люди – это оно самое, и всё.

---

<sup>1</sup>Куба – да! (исп.) «Куба – да! Янки – нет!» – лозунг сторонников кубинской революции, выступавших против экспансии США в странах Латинской Америки.

Один раз какая-то девица сказала Ленни, что он «асоциален». Правда же была в том, что все, что можно сказать о вас или о ком-то другом, лежало где-то рядом. Все, любой их фокус, от *а* до *я*, – и еще не забывайте, что не стоит полагаться на алфавит – было какое-то загадочное, непонятное: одни горные вершины торчат, а остальное – это необъятный Мадагаскар, с этими своими девами и рыбами, которые подстерегают вас за поворотом; все, что вам оставалось, это поджать хвост и быть крайне вежливым с неприятелем, чтобы он не отправил к чертям все ваше отчуждение, потому что не любят они этого, отчуждения, это их задевает, они хотят, чтобы все варились в одном котле, чтобы расхлебывали вместе с ними демографическую кашу, которая у них зовется «братство», если только речь не идет о нигерах. Буг говорил, что Америка открыла наконец абсурд, внутреннюю тревогу. Прощай, Гари Купер. Ленни ни за что не следовало доставать эту фотографию при приятелях. Они теперь без конца над ним издевались. К тому же он сам не знал, зачем он повсюду таскал с собой это фото. Может быть, из-за дарственной надписи: «Ленни, от его друга Гари Купера». Ленни было одиннадцать лет, когда он получил эту фотокарточку в ответ на длинное письмо, в котором он писал, что тоже хочет быть ковбоем. Смешно.

И вот что странно: в каждом из них было что-то жалкое. Невозможно было ненавидеть их по-настоящему. Гуманность, она наводила вас на мысль об Аль Капоне, который бежал за каждым поездом, потому что у него был билет в никуда, так что он пересаживался с одного поезда на другой, чтобы вытянуть как можно больше из оплаченного проездного; а потом эта гуманность оказывалась в сортире, на вокзале в Цюрихе, полагая, что находится в Дании. Заплутала, бедняжка. Как-нибудь, в один прекрасный день, в том же вокзальном сортире Цюриха окажутся, пожалуй, Мао или де Голль, со своим билетом в никуда за полцены в кармане, ожидающие следующего скорого, который еще не сошел с рельс.

О, это совсем не означало, что Ленни был против общества. Напротив, он был за. Он всем им желал этого от всего сердца. Это как раз для них.

Был лишь один человек на свете, у которого Ленни однажды попросил объяснения. Звали его Эрнст Фабриций, южноафриканец, который как раз загибался в санатории, в Давосе, старый любитель горных лыж, еще со времен Эмиля Аллэ, легендарной эпохи, затерянной где-то в глубине веков, когда гора еще не была потрачена демографией. Легкие у Эрнста совсем прохудились. А когда слух о том, что старый лыжник скоро должен был испустить дух, достиг их шале, ребята всем скопом отправили Ленни отвезти в Давос Грютли, маленькую статуэтку, из тех, что вырезают из дерева жители Дорфа, где, кстати, родился первый человек, вставший на лыжи. Это, конечно, была неправда, как и все остальное, но парни находили это красивым; и потом, если что и имело значение, так это вовсе не смешная статуэтка Грютли, а то, какой смысл они в это вкладывали. Ленни это совсем не нравилось. Все эти сантименты, романтизм, совсем как студенты университета, выступающие под черным знаменем. Черное или нет, оно было все-таки и прежде всего знамя. Но то была идея Буга, а лето приближалось, и Буг начинал относиться серьезнее к своему шале и своим консервам. Так что они стали тянуть спички, и Ленни, естественно, вытянул короткую. Он должен был доставить эту смешную куклу в Давос и возложить ее на постель Эрнста Фабриция. Ленни никогда еще не оказывался в таком идиотском положении, он даже прослезился. Он сидел у постели умирающего и чувствовал себя таким ничтожным и несчастным, что единственное, что ему оставалось, это попытаться спасти свое лицо, отстоять репутацию. Он старался подыскать что-нибудь особенно циничное, ко так и не смог, сердце не лежало. Ко всему прочему, ему вдруг показалось, что он опять двенадцатилетний сопляк. И это при том, что обычно ему удавалось, наврав с три короба, выпутываться из любых дурацких историй.

– Эрнст, ты не мог бы одолжить мне сто франков? Я верну, потом. Честное слово. Через

несколько месяцев.

Жалкая попытка, которая, естественно, с треском провалилась. Фабриций улыбнулся. У него была серая щетина на впадинах, где раньше были щеки.

– Не напрягайся, сынок. Мне уже плевать. Тебе не надо меня подбадривать. Еще несколько дней, и я лягу под свои лыжи. Спасибо все же.

– Эрнст, все, что мне надо, это немного денег. Я за этим сюда и пришел. Ну же, имей жалость. Сто франков. Через месяц я тебе верну.

Ему казалось, что он плывет в море клея: болото сантиментов. Он держался как мог за свою циничную улыбку.

– Сиделка сказала, что ты не сегодня завтра выкарабкаешься, Эрнст. Разве они тебе не говорили? Спорим, что они от тебя это скрывают. Спорим, уже пустили обнадеживающий слушок, а?

– Конечно. Они же не понимают. Они ни черта не смыслят в таких парнях, как мы с тобой, Ленни. Они думают, что мы – как они. Они воображают, что нам нравится здесь находиться.

– Слушай, можно я возьму твои ботинки, Эрнст? Это как раз мой размер. Тебе они все равно больше не понадобятся.

– Забирай. Хольстегские. Первостатейная обувь.

– Спасибо. Скажи, как тебе это, а? Свалить наконец отсюда?

– Замечательно, Ленни. Когда-нибудь сам поймешь. Но ты не торопись. Так лучше, когда это случается без твоего активного участия. Сюрприз.

– Лет сорок-то тебе есть?

– Все пятьдесят, Ленни.

– Вот это да! Классное поколение у вас было, парни! Не то что мы. Мы, пожалуй, столько не протянем. Но, значит, ты кучу полезного успел узнать. Давай, колись.

– Да нет. . .

– Ты был счастлив? Ну, если не считать лыж, разумеется?

– Нет, пронесло, слава тебе. . . Вот почему мне так просто уходить. Никаких сожалений.

– Значит, стоит поверить, что в нем что-то есть, в том, что они придумали там, на Востоке, стоицизм, так, что ли?

– Это не восточное изобретение, Ленни. Это греческое. Ты путаешь с йогой.

– Ну греческое. Знаешь, Эрнст, сказать тебе откровенно, плевали они на нас. Представляешь, как он забавляется, тот, что сидит там, наверху, где никого нет. Чеширский кот, помнишь? Мне про него рассказывали, когда я был маленьким. Одна улыбка, а кота за ней и нет. Наверху – то же самое. Издевательская улыбка – и никого за ней.

– Надо же, Ленни, у тебя теперь язык развязался?

– А какая разница? В любом случае, нет никакой опасности, что я что-нибудь скажу. Сказать мне нечего. Такая тоска берет, как подумаю, что ты никогда уже не встанешь на лыжи, Эрнст.

– Ничего, как-нибудь привыкну.

– Не нравится мне эта смертность. С одной стороны тебе демография, с другой – смертность. И ведь каждому дано на нее право. Чертова демократия. Хочешь знать мое мнение? Здесь какой-то обман, Эрнст. За нас мало платят, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Нас надули.

– Кто, Ленни?

– Понятия не имею. Кажется, мы все вышли из Океана, триллионы лет назад. Но до того, что было раньше? И еще раньше? И раньше раньше раньше? Все время эта несчастная улыбка?

Через несколько дней и у тебя, Эрнст, появится такая же. Поверь моему слову. Порой мне кажется, что мы здесь затем, чтобы смешить кого-то.

– Как ребята?

– Лето скоро, так что можешь не беспокоиться, ты не много потеряешь. Бабочки разные. Некоторые думают даже снять какой-нибудь банк в Цюрихе. Там, внизу, полно всяких банков. Но нужно неделями готовиться, чтобы повернуть такое дело, за это время и в самом банке можно столько же заработать. Это дело с почтовым поездом в Англии всех взбаламутило.

– Я их понимаю. Когда ты молод, тебе нужны чужие примеры.

– Кто оплачивает тебе клинику?

– Здешние австрийцы. Кажется, я как-то давал им уроки в Тироле, когда они были еще детьми. Я уже не помню. Богачи, они иногда такие забавные. Филантропия, наверное.

– Это что еще такое?

– Это богатые, которые хотят хорошо себя чувствовать.

– У тебя есть кто-нибудь где-нибудь? Кому надо написать, где тебя похоронили?

– Да нет, еще марку на это тратить.

Тогда-то Ленни и задал ему свой вопрос.

– Эрнст?

– Да?

– Что же это такое?

– Не знаю, малыш, совершенно ничего не знаю. Но что-то хорошее все же есть. Надо его искать. У меня, например, были хорошие минуты.

Он шлялся по Давосу, выжидая, пока старина Эрнст точно умрет, и потом продолжал кататься там, где и он любил бывать, чтобы побыть с ним еще немного. Может быть, сначала Эрнсту нужна была компания? Он спустился к лесу в Грюн Зан, потом к Шторму и Арльбергу, и к Блас Мэдхен, иногда спрашивая себя, как далеко можно идти в никуда. Он прихватил термос Эрнста, с чем-то горячим внутри, на нем была надпись: «d'U. S. Army»<sup>1</sup>, И это заставляло его думать, что Америка до сих пор шлет ему письма, клочки бумаги желтого цвета измены, приказывая вернуться и пройти службу в армии. Это напоминало ему, что он существует. Хорошенькая швейцарка сфотографировала его, когда он стоял перед колбасной витриной в Давосе, раздумывая над сосисками и глотая слюнки: огромные толстые сосиски, каждая раз в пять больше франкфуртских; в Швейцарии очень трудно что-либо украсть, они все такие честные, и все так хорошо охраняется. Девушка обратилась к нему, и он тотчас же понял, что достаточно немного постараться, и он получит свои сосиски.

– Откуда вы?

– Монтана, США.

Это была неправда. Но он всегда лгал, из принципа. Прежде всего следовало заметить следы. Никогда не знаешь, что может случиться,

– Вы из американской сборной по лыжам?

– Нет, какие еще сборные. Я всегда хожу один.

– Вы очень хорошо катаетесь. Я видела вас только что. У вас есть свой стиль. Это было очень красиво, правда. На вас был красный свитер американской сборной, вот я и подумала. . .

– Мне нравится красный цвет. Но только не в придачу к сборной. Я не люблю общественный транспорт. Вы случайно не знаете кого-нибудь, кто бы хотел брать уроки горных лыж? Я беру на пятьдесят процентов меньше, чем местные.

– Как удачно получилось. Я как раз искала инструктора.

<sup>1</sup>«Армия США» (англ.).

Еще бы.

– Но я не могу платить дорого.

– Вам и не нужно ничего мне платить. Только купите эту связку сосисок, и я дам вам восемь уроков за так. Я подыхаю с голоду. Свежий воздух, понимаете.

Она была секретаршей из Базеля, сюда приехала в отпуск на две недели, как раз то, что надо, ни много и ни мало. А между тем он должен был знать, что нет ничего более пагубного для истории любви с хорошим концом, – потому что когда-то эти истории все равно заканчиваются, – чем начать с того, чтобы тебя подобрали подыхающим с голода на улице какого-нибудь высокогорного городка. Девушка учуяла выгодное дело: парень, которого никто здесь не пасет, так что через три дня начались все эти «клянись мне в этом», «обещай мне то», пришлось лгать без конца, как истинному джентльмену, он не хотел никого обижать, но нужно сказать, что нет в мире такой сосиски, которая стоила бы подобных усилий. Несмотря на его высокий рост, он вызывал у женщин такие материнские чувства, что они съели бы вас живьем, только позволь.

– Ну конечно, Труди, клянусь тебе. Я никогда никого так не любил, никогда. Сумасшедшая любовь, Труди, это даже странно, в Швейцарии. . . Должно быть, я подцепил это где-то в другом месте. Поэтому нам и надо расстаться, Труди, сейчас, когда все прекрасно, пока еще это не прошло. Не нужно ничего затягивать, Труди, это бесчеловечно. Нужно расстаться с разбитым сердцем. Отвратительно, если однажды нам придется разойтись совершенно спокойно.

– Но мы можем быть так счастливы вместе, Ленни, всю жизнь.

– Какие вещи ты говоришь, Труди, честное слово. Разве такое говорят! Мне уже плохо.

– Я могла бы подыскать тебе хорошее место в туристическом агентстве.

– *Что? Где?* Что ты сказала?

– Я знаю, есть одно свободное место в агентстве Кука в Базеле.

– Ну, так пускай и остается себе свободным, Труди. Это хорошо, свобода.

– Ты меня не любишь.

– Послушай, Труди, когда любят друг друга так сильно, как мы с тобой, нужно сделать все, чтобы спасти это. И первое, что следует сделать, это расстаться, поверь мне.

– Но мы могли бы. . .

Он набросился на нее и стал целовать как сумасшедший, только бы она заткнулась, но она вновь принималась за то же, не успев еще и воздуху глотнуть. Опять он вляпался, и все пальцы у него были в клею. У нее была та спокойная, основательная, умиротворенная решимость швейцарцев, от которой он тупел; как ужасно, что все сейчас бегло говорят по-английски, не знаешь, куда и податься.

– Труди, я тебе сейчас объясню. Когда парень с девушкой сходятся по-хорошему, все это заканчивается машиной, домом, детьми, работой, а это, это уже больше не любовь, Труди, это жизнь.

– Я не прошу тебя жениться на мне, если тебе не нравится. Я знаю, что у тебя свои принципы. Но я могла бы растить наших детей и не выходя за тебя.

«Внешняя Монголия, – вдруг подумалось ему. – Где-то была страна, которая называлась Внешняя Монголия».

– Труди, помоги мне. Я один из тех, кто живет сожалениями. Это моя природа. Я буду так о тебе сожалеть, что ты будешь настоящей маленькой королевой на троне моих сожалений. . .

«Святой Боже, – думал он, – и где я набрался такой ерунды? Я, должно быть, великий поэт в душе. *Трон моих сожалений*. . . Это чего-нибудь да стоит. А этот дубина Буг еще утверждает, что неграмотный. Такому в школе не научишься. Нужно иметь такое внутри».

Ему было грустно и тоскливо. Никакой надежды. Стоило ему найти хорошенькую симпатичную девчонку, как она сразу превращалась в уродину и загоралась желанием прожить с ним до конца своих дней. Было в нем, наверное, что-то такое, что пробуждало в женщинах самые низменные чувства.

- Я буду заботиться о тебе, Ленни. Ты ни в чем не будешь испытывать нужды.
- Где ты научилась так хорошо говорить по-английски, Труди?
- В школе Берлица, в Базеле.

Тогда он брал ее за руку и нежно заговаривал с ней о Берлице, она для того и выложила пятьсот франков за трехмесячный курс, в Базеле, мечтая о красивом американце, честном и работающем, которого надеялась встретить на зимнем курорте. Он уже чувствовал себя записанным в гарантию, и парни подтрунивали над ним, говоря, что с такой симпатичной американской мордашкой, как у него, ему следовало бы найти этого Берлица и потребовать с него свои законные двадцать процентов. Они наживались на нем, эти сволочи. Ну погодите, я выведу вас на чистую воду! Он был мил с Труди. Только попробуйте заставить женщину страдать, и вот, вы уже находитесь с ней в близких отношениях. Нельзя никому делать зла, потому что невозможно причинить кому-нибудь страдание и не приблизиться к нему, а это уже угроза для вашего отчуждения. С этого и начинается семья, братство, родина. Это уже настоящий Вьетнам. Вас зачислили, и остается только собрать свои лыжи. Как верно сказал великий китайский поэт Дон Зискайнд, из Бронкса, сам великий Зискайнд, тот, которому иранский шах подарил траченный молью ковер, в одном из своих знаменитых *тохесов*, которые – не что иное, как персидский вариант перлов японской мудрости, которые называются не то *хокусай*, не то *сукияки*<sup>1</sup>: «Особенно же не следует любить своего ближнего, как себя самого, ведь он может оказаться хорошим человеком». Зискайнд был противником пессимизма. Ленни полагал также, что все люди были не похожи на него, но бывали моменты, когда он начинал в этом сильно сомневаться. И от этого у него сосало под ложечкой. Может, Иисус тоже был совсем другим, несмотря на все, что рассказывают по этому поводу кюре. Может, где-то были другие миры, населенные существами, не имеющими никаких человеческих черт. Настоящие люди. Были другие знаменитые *сукияки* или *харакири* того же Зискайнда, весьма популярного среди бродячей братии, который просто сказал: «Сначала – женщины и дети». На вкус Ленни этот *тохес* был слишком мрачным. Начнем с того, что это была ложь. Кто сказал, что во Вьетнаме сначала убивали женщин и детей? И потом, зачем было дезертировать или сжигать свой военный билет, чтобы потом еще думать о Вьетнаме? Этот Вьетнам у него уже в печенках сидел. Нельзя же, в самом деле, страдать непрерывно.

Зискайнд, верно, неплохо зарабатывал, загоняя свои японские или персидские перлы мудрости держателям китайских ресторанчиков, которые вкладывали их в такие маленькие рисовые пирожки, специально приготовленные для того, чтобы клиенты разламывали их и доставали оттуда афоризмы. Потом он сам открыл китайский ресторан, чтобы быть самому себе издателем» в каком-то смысле, и женился на официантке, полукитайянке, полунегритянке, которая родила ему троих детей, всех от одного папаши; так что он опять появился в шале, совершенно разбитый и неспособный сочинить даже малюсенького перла, в тему к данным обстоятельствам. В итоге Буг сам сочинил один такой стишок, принимая во внимание, что приближалось Рождество и у него было праздничное настроение:

Раз волхвы к нам приходили,  
Все в округе подпалили.

<sup>1</sup>Гари сознательно путает термины. Ни одно из предложенных «названий» никакого отношения к японской поэзии не имеет.

А потом на лыжи встали,  
Краснозадых митькой звали.  
*Вот тебе* мой сукияк:  
За волхвов мне пить – в ломак.

Все тепло поприветствовали Буга, это было замечательное *сукияки*, или *нагассаки*, или как бы они там ни назывались, особенно если речь идет о начинающем астматике на высоте двух тысяч метров над уровнем моря и педерасте, накануне Рождества. В мире не было такого дезертира, который не прослезился бы от восхищения перед столь глубокомысленным перлом, даже если бы его и не кормили бы здесь задарма. Только великий Зискайнд был не согласен: он чувствовал себя оскорбленным, как все евреи накануне Рождества. Он сделал невероятное усилие, наш великий Зис, он собрался, сконцентрировался и выложил на стол следующую *йокогаму*:

Если хочешь мир исправить,  
Хорошо б его подплавить,  
Врезать градусов мильон,  
Славный справится бульон.

Неплохо для еврея, да накануне Рождества, как раз в то время, когда где-то рождался Иисус, в чем, кстати, не преминули всех их потом упрекнуть. Ленни нравился великий Зискайнд, хотя обычно он избегал водить дружбу с евреями; с тех пор как их изгнали, они повсюду таскали за собой своих покойников, и некоторые явились сюда с нехорошими намерениями: они выбрали отчуждение, чтобы больше не быть евреями. Естественно, им было стыдно за то, что они антисемиты, поэтому они постоянно напоминали вам, что они евреи. Вечно эта сволочная психология, вы себе даже не представляете, что она может сделать с человеком. Она никому ничего не прощает.

Но Зис все-таки был славным малым, несмотря на его психические припадки: ночью, как только он засыпал в темноте, ему начинало сниться, что зажегся свет, и от этого он просыпался. Тогда он будил всех вокруг, вопя, что какой-то придурок забыл выключить свет: Буг говорил, что у него это было родовое, когда он находился еще в утробе матери, врач, должно быть, осматривал его с фонариком в руке, или же его отец оставлял зажженными фары своей машины, что-нибудь в этом духе. Зису не нравилось, когда о зародыше Зиса говорили в таком тоне. Он оскорблялся в любом случае, что бы ни говорили. В конце концов Бугу пришла в голову гениальная мысль. Он хорошо знал евреев, как он говорил, и они ему нравились, именно по причине их чрезмерной чувствительности, нужно было уметь с ними обходиться. И знаете, что он придумал, этот умник? Он положил Зиса спать в ванной комнате с включенным светом, И Зис спал спокойно как младенец. У евреев противоречивая натура, это всем известно.

Чтобы помочь ему расслабиться, Ленни взял Зиса с собой в долгую прогулку, на целую неделю, по всему Талю, через перевал Эббера, в долину Пса, и они пробыли целую неделю в шале одного торговца алмазами из Амстердама, который никогда там не появлялся, так что оставалось только влезть через печную трубу, и живи сколько хочешь; в доме были замечательные постели, в которых прямо утопаешь, что ни говори, и у богатых есть свои хорошие стороны, когда их нет рядом. Затем последовали Гризон и Лунный Камень, откуда можно было видеть Италию, куда Ленни собирался отправиться как-нибудь, чтобы посмотреть на пирамиды. Там, на этой Грюнденской дороге, ночью, скользя по снегу, отливавшему такой

синевой, что, казалось, ступаешь по небу, Зискайнд впал в какой-то мистический экстаз, он поправил очки на носу и произнес свой знаменитейший *хокусай*, который непременно перейдет грядущим поколениям, если еще кто-нибудь останется в живых:

Глянь, какая благодать!  
Жалко будет все взорвать.  
*Вот тебе* мой памуджон:  
Подорвите Пентагон.

Этот мерзавец совсем распоясался, как, впрочем, и все интеллектуалы, когда их вывозишь на свежий воздух, настоящий Конфуций на лыжах; а на такой высоте, в сверкающей нетронутости световых лет, вообще не было никакой возможности его усмирить. Прежде чем они добрались до шале, он наплел семьдесят пять перлов мудрости, нанизывая их один на другой, без передышки, и все они, к великому сожалению, были потеряны для потомства, за исключением одного, который Ленни запомнил, потому что придерживался как раз того же мнения, хотя и не вмешивался во все такое – ему ведь это было безразлично:

Мир прекрасно сотворен,  
Только перенаселен.  
Ну-ка, сволочи, всем встать!  
Надо вас перестрелять.

Запомнил он и еще одно, последнее: в интимном полумраке шале, когда ребята раздевались и натирались льдом, чтобы замедлить циркуляцию крови, перед тем как заснуть на двадцать четыре часа, он прокричал:

Я – великий маг Зискиндий,  
Я впитал всю мудрость Индий.  
*Вот моя* будисатва:  
Жизнь – не сахар, не халва.  
То есть я хочу сказать:  
Дальше едешь, жестче спать.

После чего заснул, с блаженной улыбкой на устах, вполне довольный собой, скрестив руки на груди – и трясся бородой в удовлетворенном похрапывании.

Ленни не был способен выдавать такие перлы мудрости, но он все-таки попытался объяснить Труди, что это значило: «нет», «нет» категорическое, всеобъемлющее, прекрасно осведомленное, «нет» *самурая* или *кулебяки*, или как там его, того, кто отлично знает, что невозможно построить всем миром новый мир. Но восточные перлы мудрости – для Труди это было все равно что китайская грамота. Он так извелся со всем этим, что ему уже стали сниться кошмары: он видел себя в хорошеньком домике со ставнями в виде сердечек и садом-огородом на заднем дворе, и как сам он играет со своими двумя очаровательными детишками, пока Труди хлопочет на кухне, распевая что-то на швейцарском немецком, и еще была швейцарская немецкая собака, которая смотрела на него влюбленными глазами, и почтовый ящик, вывешенный на улице, с написанным на нем его именем и номером дома, так что у него волосы вставали дыбом и он просыпался в холодном поту. Адрес, имя, все условия, чтобы маленькая лошадка отбросила копыта. Они знают, где вас найти, заставить вас легально существовать,

всё, сосчитали! Единственные из его сверстников, у кого было определенное место жительства, лежали в свинцовых ящиках во Вьетнаме, Йонго Бакстер, Фил Еркин, Лу Поццо плюс еще двести тысяч, в большинстве своем – негры, это и была интеграция. Он так запугал себя, думая обо всем этом, что выскочил из постели в самый разгар бурных ласк, натянул штаны, и как раз в этот момент его инстинкт самосохранения и шепнул ему на ушко очень тактичную ложь, настоящий перл восточной мудрости:

– Послушай, Труди, я тебе сейчас все расскажу. Я не могу остаться с тобой. Я вообще нигде не могу оставаться. Два месяца назад я убил полицейского в Базеле. Три пули в живот. Прямо не знаю, что на меня нашло, он ведь ни о чем меня не спрашивал, он не знал, что я истребил эту семью, за три дня до того. Ты помнишь, об этом еще в газетах писали. Прощай, Труди, я не хочу доставлять тебе неприятности. Укрывать у себя убийцу, знаешь, как далеко это может завести. Десять лет, точно. Не бойся, живым я не дамся.

Она тут же успокоилась. Потянула одеяло к подбородку, чтобы прикрыть свое добро и прочее, потому что он был убийцей: швейцарская логика. Она мгновенно ему поверила, это было даже лестно. Америка. Она так и знала, что они все там патологические убийцы.

– Mein Gott<sup>1</sup>, Ленни, почему ты его убил?

– Как правило, чтобы убить кого-то, Труди, никакого мотива не нужно. Это не личное. Я думаю, что полицейский – это портрет отца. Авторитет. Я помешан на психологии, Труди. Я заражен враждебностью. Нас в Америке двести миллионов. Есть отчего свихнуться.

Он натягивал носки и ботинки, а она смотрела на него синими испуганными глазами, подтянув одеяло под самый подбородок.

– Прощай, Труди. Буду навещать тебя время от времени. Может статься, однажды ты найдешь меня у своих дверей изрешеченного пулями, тыпустишь меня, мы забаррикадируемся, будем держаться до последнего патрона и умрем вместе, я ничего тебе не обещаю, но я постараюсь. . .

Можно полностью положиться на то, что европейцы так хорошо знают Америку, это твердое знание, можно смело идти: выдержит. Глаза у нее были полны Американской Мечтой, он стоял здесь, перед ней, пока еще не изрешеченный пулями, но уже окруженный неграми, которые нападают на вас на углу и которых потом линчуют кукулуксклановцы. В Европе этой Американской Мечты полно, это у них десерт такой.

Он сказал ей «пока», сделал ручкой и вышел, весь такой тактичный и наконец свободный.

Только вот он еще недостаточно знал швейцарцев. На следующий день, когда он спокойно шатался себе по улицам Церматта, разыскивая Аву Слонинского, из Питтсбурга, который за два года до того потерял веру в ничто, даже на лыжах перестал кататься и открыл экспресс-бар за гостиницей Мюллера, назвав его «Старый английский бар эспрессо и гамбургеров им. Альберта Эйнштейна», который был также салоном поэзии и штаб-квартирой Комитета по ядерному разоружению Церматта и Движения в поддержку ООН и Регионального центра борьбы против войны во Вьетнаме и Швейцарского объединения по контролю за рождаемостью в Индии, где Ленни всегда мог рассчитывать на яичницу-глазунью, потому что как-то раз он сказал им, что его отец был героем войны в Корее и что теперь он, Ленни, никому не осмеливается глядеть в глаза, так вот, именно тогда два полицейских взяли его под белые ручки. И через пять минут он уже сидел в полицейском участке Церматта, пытаясь убедить местного комиссара, что он никогда никого не убивал, ни в Базеле, ни где-либо в другом месте, и что он только хотел быть вежливым и милым с девушкой и бросить ее, не причинив больших огорчений, потому что эта девушка любила его безумно, а любовь – это волшебная

---

<sup>1</sup>Боже мой (нем.).

вещь, каждый это знает. «Черт возьми, – думал он, – минуты не прошло, как я ушел, а она уже кинулась к телефону и все выболтала полиции; это была самая честная и искренняя девушка, которую я когда-либо встречал, нельзя этого отрицать, и как хорошо сознавать, что такое бывает. Как это говорится-то, для этого есть специальное слово, для всего есть свое слово. . . ах, да – совесть. Неудивительно, что швейцарцы делают лучшие часы в мире, на них можно полагаться».

– Вы признались, перед свидетелем, что убили выстрелами из револьвера агента Шутца, в Базеле, три месяца назад.

– Это из вежливости, месье. Я сделал это от доброты душевной.

– *Что?* Какой цинизм!

– Да нет же, не то. Я хочу сказать, что все это была чистая ложь, месье. Извините, я не очень хорошо говорю на вашем языке.

– Но мы же с вами говорим на английском, так?

– Да, месье, конечно. Но вы знаете, слова, они мне так трудно даются, слова – это не мое. Мы друг с другом не контактируем, я и слова, поэтому друг друга избегаем.

– Очень удобно.

– Это да, вы правильно сказали, месье. Это очень удобно. Это даже может спасти вам жизнь.

Буг говорил: «Возьмите, например, такое слово, как *патриотизм*. Для человека, который не знает слова, девять шансов из десяти обойти это стороной».

– И как же вы думаете, без слов?

– Я стараюсь не думать, месье. Но мне случается размышлять.

– То есть, это – не одно и то же?

– Не совсем, месье. Размышление – это чтобы думать ни о чем. Тогда ты счастлив.

Комиссар пытался сдерживать улыбку. Честь мундира и все такое. Волосы у него уже начинали седеть, он был очень загорелый, может быть, он даже катался на лыжах. Да, каким бы отвратительным это вам ни показалось, есть и такие полицейские, которые катаются на лыжах. Полиция – для них нет ничего святого!

– Свидетельница сказала также, что вы взяли у нее деньги. Что вы ее избили и обокрали.

У Ленни как гора с плеч свалилась. Потрясающе. Ему сразу стало весело и легко. Уму непостижимо, девчонка, должно быть, выдумала это специально, чтобы сделать ему приятное. Женская интуиция. Она знала, что он должен чувствовать себя как последняя дрянь, оттого что бросил ее, и что он ел себя поедом из-за этого, вот и сделала ему такой подарок. Нет, что ни говори, если есть что настоящее в этом мире, так это любовь. Он даже прослезился. Из признательности. И потом, порой и ему все это надоело.

– Ну же, не плачьте.

– Я никогда не плачу, месье. Просто глаза у меня чувствительные, слезятся. Реверберация, знаете ли. Я ведь все время среди снегов.

– Вы ничего не украли у нее?

– Если только сердце, месье. Она любит меня безумно, вот и старается сделать побольнее. Я уверен, вы знаете, что такое любовь, месье. То есть, я имею в виду, как полицейский. Сродни настоящему убийству.

Комиссар наконец не выдержал и улыбнулся. Ему даже захотелось пошутить. С американцами всегда так, Ленни тысячу раз в этом убеждался. Они всем нравились.

– Ладно. Убийца Шутца давно арестован. Он признался. Мы просто проверяли. У вас есть разрешение на работу?

– Нет, месье. Я вообще не работаю. Мне никого не нужно кормить, кроме себя самого, и у меня есть знакомые.

– Ваша цыпочка сказала, что вы даете уроки катания на лыжах.

Ленни открыл было рот, чтобы возразить, но внезапно передумал. Почему бы не дать шанс этому парню, пусть он даже и полицейский? Он не стал отрицать. Полицейский посмотрел на него и схватил пролетающий мимо шанс.

– Ну-ка, ну-ка. У нас в Швейцарии и правда слишком много юных американцев, таких как вы. Что же вас всех так тянет сюда?

– Ну, прежде всего, конечно, лыжи. Нам нравится. . . вообще-то я толком не знаю. Нам нравится быть далеко. А Швейцария – это такая дыра, словом, то, что нужно.

– Спасибо.

– То есть я хочу сказать. . .

– Да, я понял. У меня сын одного с вами возраста. Он считает, что Швейцария – это просто ужасно.

– Да, это из-за языкового барьера, месье.

– Я же вам говорю, он швейцарец.

– Вот именно. Он говорят на языке своей страны, месье. Он беззащитен.

Полицейский покачал головой и отдал Ленни его документы. Он вдруг сразу помрачнел. Самое время было убраться подобру-поздорову. Если он начнет думать о своем сыне, всё, не сносить Ленни головы.

Он вышел оттуда в подавленном настроении. Земля становилась необитаемым местом, где все говорили по-английски и могли понимать друг друга. Неудивительно, что вокруг творилось все больше зверств.

Кроме того, они заметили, что его паспорт просрочен, и сказали, что он должен его возобновить или покинуть страну, а этого он никак не мог, потому что американская армия сидела у него на хвосте. Это, конечно, была прекрасная армия, распираемая демографией и внушающая впечатление такой мощи, от которой Ленни все еще не мог опомниться. Он страх как боялся силы, дрянная это вещь, надо сказать, пакость, подлянка, особенно для слабых. Напрасно вы стали убеждать их, что отказываетесь от военной службы по религиозно-этическим соображениям, они все равно нашли бы способ заставить вас трудиться на благо общества.

Это был черный день, настоящий Мадагаскар.

И хуже всего то, что лето уже наступило и успело нагадить везде, куда ни пойдешь. Ночью снег подмерзал, а днем становился мягким и умирал, повсюду показывались булыжники, и земля вокруг все больше оголялась. Реальность, куда денешься. Вы увязали в ней по уши. Летом она всегда садилась вам на шею. Можно подумать, что это дно поднимается, и плевать ему было на высоту. Начинало вонять бензином, даже в Дорфе. И туристов почти не оставалось. Джаз-банд Сиди бен Сайда (настоящее его имя было Джерри Гутри) отчалил, с Сиди во главе и с четырьмя десятками пар тувель, набитых марихуаной. Гостиницы закрывались на месяц, чтобы подготовиться к летнему сезону, когда приезжали «скалолазы», для которых не было большего удовольствия, чем болтаться на шнурке, чтобы почувствовать себя по-настоящему свободным. Ко всему прочему, Буг собирался отбыть в Италию, где его ждали родители. Стоило ему их увидеть, как у него начинались жестокие приступы астмы, хотя он очень любил своих родителей, но он был у них один-единственный сын, и они не знали, что он голубой, как ночной горшок, и пытались убедить его жениться. Он каждый раз собирался все им рассказать, он даже собрал целую библиотеку по педерастии, чтобы просветить их, но у его отца уже был один инфаркт и без дополнительной нагрузки в виде

отпрыска-гомика, так что Буг теперь не знал, что и делать. Как-то даже ему в сознание закралось ужасное подозрение: он спрашивал себя, а не напоминала ли его манера вести себя с отцом что-то вроде инцеста. Опять эта психология. Некоторые из бродяжьей братии совсем распускались, шли мыть посуду в гостиницах Веллена, были даже такие, кто заговаривал с вами о военном транспорте, который отходил из Амстердама и мог захватить и вас заодно, чтобы доставить в Америку за так, вот сволочи; другим как нельзя более кстати подворачивалось дружеское участие, как, например, Джонни Липски, его подобрала одна француженка, которая была интеллектуалка до мозга уж не знаю чего и обожала произведения Джонни, написанные им под псевдонимом Теннесси Уильямс<sup>1</sup>. Марти Стивенс подыскал работенку вышибалы в стриптиз-клубе, в Лозанне, и торчал на улице в униформе, еще тот стриптиз! Некоторые просто-напросто испарялись, и о них больше уже никто ничего не слышал до того дня, когда их жирные заплывшие тела показывались на поверхности в каком-нибудь рекламном агентстве в Манхэттене, где они покупали дома в кредит, создавали семью и, наконец совершенно разложившись, утопали в болоте, затачиваемые на дно всеобщей демографии. В шале остались лишь немногие, самые упорные, старые-престарые, верные-преверные, те, кто предпочитал загнуться здесь, чем спуститься. Дни стали слишком длинными, слишком, звезд не хватало. Буг все никак не мог решиться уехать, правда он теперь не задыхался – для разнообразия он весь, с головы до ног, покрылся экземой. Он сейчас собачился с какой-то девицей, которую никто из них никогда раньше не видел, девчушка со страшненьким личиком, но красивым исхудавшим телом, из разряда «о-дорогой-сделай-мне-больно». Он нашел ее плачущей на вокзале в Цюрихе, куда отправился искать приключений. Этот привокзальный сортир, должно быть, был местом необыкновенным, настоящим прибежищем страждущих. У девчонки не было ни гроша, она потеряла паспорт, но любой ценой хотела попасть в Рим, посмотреть на папу Иоанна XXIII, потому что кто-то сказал ей, что он был классный парень, и, само собой, стоило проделать весь этот путь, чтобы увидеть хотя бы одного такого. Буг рассудил, что эта козявка – интересный экземпляр демографии, и захватил ее с собой. В настоящий момент он восседал на своей современной софе, которая каждую секунду грозила развалиться прямо под тобой. Буг излагал перед нами «проблему» этой девчонки, которая вся покраснела от удовольствия, потому что впервые ей говорили, что у нее что-то есть, пусть это всего лишь какая-то «проблема»: как будто ей вот так сразу придали значимость личности.

– Типичный результат родительской неразборчивости в связях, – вещал Буг, указывая перстом на малявку. – Миллионы и миллионы сперматозоидов, которые они сбрасывают в среду обитания и потом называют это Америкой. Взгляните на нее. Она же совершенно потеряна. Чудовищные последствия соитья совершенно не осознаются партнерами во время полового акта. Сия особь вообще не должна была бы появляться на свет, это же просто бросается в глаза. Стругать детишек неизвестно где, неизвестно как, чтобы из них выросло неизвестно что, это же геноцид. Такие рождения – это умертвление сперматозоида. Вы отдаете себе отчет в том, что сегодня представляет собой средний сперматозоид? Вот, полюбуйте!

Все любовались. Она пыталась улыбнуться.

– Просто сердце кровью обливается, – орал Буг. – Если бы ее проворный сперматозоид мог увидеть себя в этом, он бы повесился. Защита человека – это прежде всего защита спермы. В ней разыгрываются и сам человек, и судьба всего рода. Если не принять экстренных мер, то человеческую сперму ждет участь Римской империи, известное дело. Ты хоть знаешь, как тебя зовут?

---

<sup>1</sup>Теннесси Уильямс, настоящее имя Томас Ланир (1911-1983), – американский драматург, автор пьес «Стеклянный зверинец», «Трамвай “Желание”» и других.

– Лизи Шварц.

– Ну, хоть что-то. Она получила хоть какое-то воспитание. Ну, и что ты здесь делаешь, в этой жизни?

– Я еду в Рим, посмотреть папу Иоанна Двадцать Третьего.

– Зачем?

– Он хороший.

Буг многозначительно поднял палец:

– Заметьте, она пересекла океаны, без гроша в кармане, загибаясь с голодухи, только лишь потому, что ей сказали, что где-то есть кто-то хороший. И кто же он, этот тип? Папа. Вы представляете себе, какая перед вами загадка демографии? Где твои родители?

– Меня вырастила тетя.

– Казнить тетку, сию же секунду! Расстрелять! А твои родители?

– Они терпеть меня не могли.

– Да? Отчего же?

– Ну, вы знаете, как это бывает, с родителями, когда у них не ладится между собой. Они смотрели на меня, и это напоминало им, что они раньше спали вместе.

Буг побледнел как мертвец. Еще и с этой его экземой сверху – просто жуть. Друзья-бродяги уже стали за него беспокоиться.

– Слушай, Буг, оставь ты ее в покое, – сказал Ленни. – Это все старо как мир. Мы сами удрали сюда по той же причине. Брось. Ты же видишь: пропащая душа. Ну так и пусть остается такой, какая есть. Только представь, начнет она соображать, что к чему. . .

– Адрес твоих родителей, быстро! – Буг вышел из себя. – Сейчас я им все распишу черным по белому. . .

Девчонка теперь слегка забеспокоилась. Должно быть, до нее стало доходить, что разговор-то идет о ней. Если этот поганец Буг разбудит в ней дремлющее сознание, понадобится лет семь плотного психоанализа, чтобы привести ее в себя.

– У меня нет их адреса, вы что!

– А теткин?

– Она умерла.

– Ну, хоть что-то. Хоть одно полезное дело сделано. Ты что-нибудь умеешь?

Она молчала. И хлопала ресницами. Накладными. Подведенными где следует. По крайней мере, краситься она умела.

– Я спросил тебя, умеешь ли ты что-нибудь делать. Ты прекрасно поняла. И нечего тут стыдиться. Папа пока еще далеко.

– Хватит, Буг, оставь ее в покое, – завопил Зис. – Ты же видишь, она умеет краситься. Наводить красоту. Соблюдать гигиену. У нее наманикюренные ногти. Чего тебе еще, Господи ты Боже мой! Цивилизованная, и ладно.

– Я была в лифте, – сказала девчонка. У нее были слезы на глазах. Мы все вдруг резко забеспокоились, стало как-то не по себе. Казалось, что она сейчас как скажет что-нибудь. . .

– Ты запускала лифт вверх и вниз? Где ты этому научилась?

– Я закончила курсы в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, заочно.

– В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, как вам это нравится? Банда сволочей. А как же ты оплачивала свои курсы лифтеров?

Доигрались. Она плакала. Настоящими слезами, сознательными. Слезы – это всегда сознательность. Это – от понимания.

– Не плачь. Ты это делала по телефону?

Несчастливая уже и не думала защищаться. Напротив. Теперь она хотела рассказать все.

– Нет, так. В разных местах. В барах, на улице. Я хотела накопить немного денег.

– Чтобы поехать посмотреть папу?

– Буг, – взвился Зис. – Ты понимаешь, что ты делаешь? У тебя приступ педерастии.

– Весьма возможно. Зато я не разбрасываюсь сперматозоидами где попало. Я выбираю для них место, которое как раз им под стать. Не плачь. Я куплю тебе билет к этому твоему папе, туда и обратно, и еще я дам тебе чек на две тысячи долларов, которые ты получишь в Штатах. Ты пойдешь к моему отцу, у которого лифты повсюду, даже в Африке. Выберешь себе один, по душе. Тебе станут показывать фотографии. Смотри хорошенько, потому что ты на всю жизнь останешься с тем, что выберешь. Бывают даже с кондиционерами. Всю жизнь в лифте, черт возьми, и это называется цивилизация. Мы не имеем права обречь на такое свои сперматозоиды. Таблетки, скорее! Если Церковь не справляется, всех – в педерасты.

Малышка вытирала слезы. Иззи бен Цви уже готов был жениться на ней. Они все герои, эти израильтяне. Остальные приумолкли в раздумье. Естественно, речь не шла о том, чтобы браться за что ни попадя. Все они были против бомбы, потому что, в любом случае, она находилась во вражеских руках, у американцев, у русских, у китайцев. И они были против революции, потому что когда революция удастся, это значит, что она провалилась.

– Прежде чем выпустить свои сперматозоиды погулять, нужно подготовить для них приемкомиссии! – гремел Буг.

– А я против, – заявил Аль Капоне. . . – Против на сто процентов. Никаких приемкомиссий. Я – за конец света.

Такие речи тут же на них подействовали. Воцарилась тишина. Какое там! Даже Буга проняло.

– Как это, конец света? Это фашизм.

– А мне плевать. Конец света и точка. Всё. А потом у нас появится замечательная поэзия.

– Что? – взревел Буг. – Ты что, спятил? Конец света, и *потом* поэзия? Какая поэзия? Как?

– Не мое дело. Конец света – это всегда чудесно сказывается на искусстве. Каждый раз, как приходил конец света, потом всегда наступало возрождение архаических форм.

– Ну, тогда ладно, – согласился Буг, которому очень нравились водители грузовиков.

– Нам нужен новый конец света, это первое, что необходимо сделать. Кто «за», поднимите руку.

Никто не поднял, кроме самого Капоне. Они все думали о своих лыжах, боялись отпустить.

– Что ж, раз так, тогда я ухожу, – обиделся Аль Капоне. – Если вы не за конец света, вы все – реакционеры.

– погоди, – удержал его Буг. – Может быть, еще договоримся.

– Буг, – сказал Ленни, – не мог бы ты одолжить мне пятьдесят франков, раз уж ты уезжаешь? Мне придется спускаться в Женеву.

– С ума сошел? В это болото! Там же нечем дышать. Ноль метров над уровнем дерьма.

– Надо же что-то есть. Лето ведь. А так как ты точно загремишь месяца на три в больницу со своей психологией, после встречи с отцом, нам все равно придется что-нибудь подыскивать.

– Да что ты в Женеве-то забыл, дурачина? Водные лыжи?

– О нет, только не это. Но мне сказали, что там для меня есть кое-что подходящее.

– Что именно?

– Откуда я знаю? Был там один парень, Ангелом звать. Он оставил для меня сообщение у «Мюллера».

– Что это еще за Ангел? С такой кликухой только банки грабить.

– Именно. А ты чего хотел?

– Он ничего тебе не объяснил?

- Ничего. Сказал только, что это как раз для меня.
- А! Так ты у нас что-то умеешь, оказывается? Ну-ка, ну-ка, расскажи. Позабавь меня.
- Оставь меня в покое, Буг. Ты нас спасаешь, так что у тебя нет права измываться над нами. Или это уже авторитарный режим.
- Ладно. Но что ты умеешь делать, Ленни?
- На необитаемом острове и я произведу сенсацию, Буг. Найди мне какой-нибудь, сам увидишь.
- Буг строго смотрел на Ленни, посасывая свою трубку:
- Хорошо. Получишь свои пятьдесят франков. Но сначала ты дашь мне ответ на одну из больших философских загадок.
- Вот дерьмо.
- Нет, не это. Это был ответ Эдипа Сфинксу. «Рождение трагедии. . . », Ницше.
- Это еще кто такой?
- Слушай мой вопрос, Ленни. Кто, скажи, стянул из формочки пирог? Who took the cookie from the cookie jar?
- Слушай, тебе, пожалуй, опять стоит наведаться в тот сортир в Цюрихе, Буг. Явно неумоготу.
- Вспомни, Ленни, как вы играли в детстве. Все берутся за руки, водят хоровод и спрашивают. Кто, скажи, стянул из формочки пирог, Ленни?

Who took the cookie from the cookie jar?  
 Not I took the cookie from the cookie jar.  
 Then who took the cookie from the cookie jar?  
 He took the cookie from the cookie jar.  
 Not I took the cookie from the cookie jar.  
 Then who took the cookie from the cookie jar?<sup>1</sup>

- Да мне плевать, Буг. Честное слово. Мне совершенно плевать. Если хочешь знать, я думаю, что его вообще там не было, пирога твоего. Они забыли его туда положить, в эту их вонючую американскую формочку.
- Who took the cookie from the cookie jar, Ленни? Кажется, это был самый вкусный пирог в мире.
- Еще бы. Самые вкусные пироги, Буг, это те, которых не существует. Бог. Коммунизм. Братство. Человек с большой буквы «Ч», вот такенной!
- Кто стянул замечательнейшую Американскую Мечту, Ленни? Who took the cookie from the cookie jar?
- Да подавись ты своими бабками.
- Но Буг все-таки дал ему денег, и Ленни спустился в Женеву.

---

<sup>1</sup>Кто, скажи, стянул из формочки пирог? / Я не брал из формочки пирог. / Кто тогда стянул из формочки пирог? / Он стянул из формочки пирог. / Я не брал из формочки пирог. / Кто тогда стянул из формочки пирог? (англ.)

## Глава II

Селезня звали Лорд Байрон, потому что он тоже хромотал. У него было замечательное оперение с оранжевым отливом, и каждый раз, когда она брала его на руки, он крякал по-французски: «Quoi? Quoi?»<sup>1</sup>, затем прятал голову под крыло и засыпал, и ей приходилось целыми часами стоять там и держать его. У нее были прекрасные отношения со всеми хромыми утками, это было ее призвание в жизни. Еще там были чайки, на том озере, и лебеди, белизной своих перьев напоминавшие взбитые сливки, и другие, черные, птицы, чем-то смахивавшие на пролетариат; она часто приходила кормить их; и потом, в Женеве, это был ее самый любимый уголок. Она также работала два дня в неделю в Обществе защиты животных. Невозможно решить все мировые проблемы разом; всегда с чего-то нужно начинать.

Через час она должна была быть в клинике, чтобы забрать своего отца, а у нее еще не было денег на оплату больничного счета; ко всему прочему, бензин в баке ее «триумфа» был на нуле. Кто бы поверил, что дочь консула США в Женеве сегодня не обедала, потому что у нее не было денег! Впрочем, именно это и требовалось: никто не должен был ничего заподозрить. Для этого Штаты и платят своим консулам: чтобы поддержать престиж. Ее отец так усердно работал на престиж своей страны, что дослужился до алкоголика, не помогла и дипломатическая неприкосновенность. Все-таки странная это вещь, дипломатическая неприкосновенность. Она так хорошо скрывает вас от всего окружающего, что в конце концов разрушает вас изнутри. Стекланный колпак, который оберегает, в конце концов ломает вас. Идеалистам не следовало бы давать право представлять свою страну за границей: они могут принимать лишь весьма ограниченные дозы реальности, и то запивая их джином. Карьера ее отца, в прошлом – многообещающая, теперь, в течение этих последних лет, медленно, но верно катилась под гору, стаскивая его с одного незначительного поста на другой. Он был одним из тех редких дипломатов, которые неспособны слушать ружейные залпы на расстрелах, а потом, переодевшись в смокинг, присутствовать на официальном приеме вместе с палачами. Это роковое слабое место американского представителя было занесено в регистрационные записи Управления личного состава Госдепартамента как «слабохарактерность, неуравновешенность». Он был еще довольно красив в свои пятьдесят три: люди живут сегодня до глубокой старости, благодаря антибиотикам. Глаза темные, что очень подходило ему с его чувством юмора, потому что так озорной бесенок в его зрачках заметнее, нежели на голубом фоне. Он был очень элегантен, необыкновенно проницателен, но слаб. Какой смысл это отрицать? Она и любила его так именно потому, что он был слабым. Хватит того, что сильные люди построили этот мир.

Она спустила увечного селезня на воду, поднялась по ступенькам и села за руль. «Триумф» соизволил завестись и тронуться с места, но на одной доброй воле далеко не уедешь. Хорошо бы еще и бензин. Она включила «Мессию» Генделя, в смутной надежде заставить «триумф» забыть о его насущной проблеме. Она знала, что если машина заглохнет в центре города, она не выдержит и расплачется. Всему есть предел, даже решимости смотреть в лицо неприятностям. Ничего, они, неприятности, найдут, с кем в гляделки поиграть. Кое-как она добралась до кафе. Она всегда подозревала, что «триумф» пойдет на все что угодно, лишь бы послушать немного хорошей музыки, это у них семейное. Искусство. Концерты. Музы.

---

<sup>1</sup>Что? Что? (фр.)

Культура: говорите, что хотите, но во всем этом было достаточно живительной силы, чтобы заставить человечество забыть о проблемах с горючим.

В тот момент, когда она выходила из машины, какой-то парень, которого она никогда раньше не видела, высокий, очень загорелый, с золотистыми непослушными вихрами («полными солнца», как сказали бы в журнале *«Elle»*) и с лыжами на плече, улыбнулся ей. Она никогда не видела зебру, но эту улыбку узнала бы с закрытыми глазами. Здесь и ирония, потому что эти парни суровы, и робость, потому что они немного трусят, и мужественность, потому что им необходимо подбодрить себя. И потом, стоило только взглянуть на ноги, на бедра, и сразу станет ясно: американец. Американцы, в том, что касается ляжек, вне конкуренции. Какое удовольствие смотреть, как они ходят. Она невозмутимо стала разглядывать его ноги, чтобы вогнать его в краску.

- Что это значит, «КК»? Номерной знак на вашей машине?
- Консульский корпус. У вас красивые ноги.
- И что это означает?
- Это означает, что у меня дипломатическая неприкосновенность. О'кей?

Он рассмеялся, но она уже скрылась за дверью кафе. Дипломатическая неприкосновенность, как же. Одета-то она, конечно, ничего себе. А вот насчет неприкосновенности это мы еще посмотрим. Ленни почувствовал себя немного лучше. С красивой девчонкой всегда легче. Дурнушки вечно заставляют себя упрашивать, чтобы показать, что поклонники за ними толпами ходят.

Он заметил, как Ангел вышел из большого «форда», припаркованного у противоположного тротуара, и направился к нему, закуривая на ходу сигарету. Золотая зажигалка, не фунт изюма. Знак профессиональной принадлежности.

Лицо с оливковой желтизной, неудачник. Вязаная шапочка, непонятно из чего, черные кожаные ботинки, черная чесуча, черные очки. Богатая фантазия, ничего не скажешь.

- Что? Пролетел? Она на тебя даже не взглянула.
- Инстинкт самосохранения, Анжи.

Парень сунул в карман золотую зажигалку и сразу потерял процентов девяносто своей значимости. Весь в черном, даже галстук. Как будто к себе на похороны собрался.

Когда два дня назад Ленни обнаружил появление на горизонте этого желтоватого лица, он сразу же подтянулся. Ему нравились люди, которых он на дух не переносил. Это не давало ему раскиснуть. Мало иметь собственное мнение, нужно еще видеть, как оно подтверждается. Ленни воротило ото всех, кого он находил симпатичными. Из-за них начинаешь сомневаться в собственных убеждениях. Они трогают вас за живое. А это пагубно для стоицизма. Они так и норовят взорвать созданный вами мир. Революционеры. Буг говорил, что нужно иметь какие-то верные ориентиры в жизни, что-то, на что всегда можно положиться, И этот парень, Ангел, представлял собой одну из таких точек опоры.

- Ты когда-нибудь стоял на лыжах, Анжи?
- Нет. А что?
- Да так. От тебя всего можно ожидать.

Тот улыбнулся. Создалось такое впечатление, будто он держал во рту вторую зажигалку. Сплошное золото, ни одного живого места.

– Да, Ленни. Вы, американцы, любите пошутить. , Так и доигрались до Вьетнама. Шутка за шуткой. . .

Ленни был под впечатлением. Говорите что хотите, а настроение у него взлетело выше некуда. Даже такие отбросы, как Ангел, попрекают вас Вьетнамом.

Он обошел «триумф» кругом, нагнулся и стал рассматривать табличку с буквами «КК». Неприкосновенность. Как же. Никогда еще не встречал девчонки, более уязвимой, чем эта. Следовало бы серьезно поостеречься. Эти уязвимые девушки, им ничего не стоит разрушить вас до основания.

Он стал приглядываться, выискивая ее за стеклами кафе, но увидел только игроков на бильярде.

– Иди, поговори с ней.

Неприкосновенность. Хорошо сознавать, что такое в принципе существует. Должно быть, это прививают лошадиными дозами в задницу, с самого младенчества.

– Иди же, я говорю.

– Я умею водить, Анжи. Нечего меня учить. Я на этой дорожке пораньше твоего оказался. Скажи, пожалуйста, что это ты все время в черном? «Черный Ангел». Был такой кечист, так же звали. Случаем, не родственник?

– Даю тебе двадцать четыре часа. Потом возьму кого-нибудь другого.

– Двадцать четыре часа? Это слишком. Я верну тебе сдачу.

Отброс пожал плечами и направился к своему «форду». Этот тип был Ленни настолько отвратителен, что он едва удержался, чтобы не окликнуть его. Ему так необходимо было человеческое присутствие рядом.

## Глава III

«Луидор» был центром интеллектуальной жизни Женевы, здесь собирались все умники, которым удалось заполучить стипендию. Сюда же в это место паломничества стекались прочие студенты, чтобы оценить силы противника. На стенах красовались портреты кое-кого из кофейных знаменитостей. Карл Маркс, не велогонщик, а тот, первый, Кропоткин, Падеревский, было даже фото Ленина, на котором он был запечатлен читающим газету за тем же столиком, где сейчас сидел Чак, погрузившись в «красную книжечку» Мао, которую недавно ввели в программу выпускных на филологическом. Чак был афро-американец хрупкого телосложения, младший, одиннадцатый, ребенок в семье таксиста из Бирмингема, штат Алабама. Он учился на том же курсе, что и Джесс, и всегда смотрел на нее поверх своих очков с тем безразличным видом, с каким черные обычно смотрят на красивую белую девушку. Отец Чака был приговорен к пяти годам тюрьмы в 1957-м за то, что имел неосторожность «смотреть на белую женщину с вожделением». С тех пор закон нисколько не изменился, но устарел. Составитель этого закона не предусмотрел того случая, когда черные смотрят на белых женщин так, словно их сейчас стошнит.

– Чак, не одолжишь мне двести франков?

– А что это ты ко мне обратилась? Хочешь показать свою толерантность к цветным?

– Чак, на меня надели все разом. За квартиру надо платить. За гараж. Мяснику. В клинике. Просто кошмар.

– Попроси у Поля. У него деньги из ушей торчат.

– Я не могу просить у него взаймы. Вопрос этики. Ты должен был бы это знать. Этика. Ну, помнишь. . . Программа второго курса.

– Я только одного не понимаю, как дочь консула США может оказаться на такой мели. Я полагал, мы платим достаточно налогов, чтобы содержать достойно вас обоих, и твоего отца, и тебя.

Чак тщательнейшим образом избегал жаргонизмов. И это была единственная черта, оставшаяся от его комплекса неполноценности. Джесс давно уже заметила, что негры-франкофоны говорили на столь изысканном французском и проделывали такие головокружительные трюки со всеми этими оборотами в прежде-прошедшем сослагательного, да к тому же с инверсией, что постоянно приходилось опасаться, как бы они не навернулись,

– Не знаю, па что уходят кровные налогоплательщиков, но могу тебя уверить, что за полгода я не купила себе ни одного нового платья. Что же касается белья. . .

– Замолчи, ты хочешь, чтобы меня посадили? На, держи, здесь сто франков. Это все, чем я могу помочь соотечественнице в данный момент. Мои десять сестер и братьев исходят потом и кровью, чтобы дать мне возможность учиться в Швейцарии.

– Ничего, Чак, я на них за это не сержусь.

– Все равно, спасибо, что обратилась ко мне, Джесс. Ты настоящая либералка.

Он опять взялся за свою книжку.

– Смотри-ка, а этот новый папа – ничего. Ты видела газеты? Он прервал мессу и заставил кюре убрать этот пассаж насчет «предателей евреев»<sup>1</sup>. Сдается мне, он стоящий человек.

<sup>1</sup>Понтифик, ратовавший за мирное сосуществование государств с различным общественным строем, настоял на изъятии из мессы в страстную пятницу отрывка, в котором (вероятно, вследствие неправильных переводов Библии) евреи назывались «неверными», предавшими Христа.

Церковь все никак не придет в себя. Знаешь что, Джесс? Я бы хотел, чтобы меня тоже однажды выбрали папой.

Она взглянула на это простое негритянское лицо и глубоко вздохнула.

– Нужно быть итальянцем, чтобы тебя выбрали папой, – тактично заметила она.

Она опустила монетку в проигрыватель.

– Думаю, я скоро брошу учебу, – сказал Чак. – Мне кажется, я начинаю белеть. В сущности, здесь опять начался гон, все стараются куда-нибудь сбежать. Как, например, наши друзья, которые собираются ехать работать в киббуц, в Израиль. Это сейчас самое то. Нынче летом все рвутся в киббуц. В прошлом году был Фестиваль Мира в Москве. В позапрошлом – Молодежные бригады в Югославии, и небольшой заезд в Англию: марш-бросок выступающих за ядерное разоружение. Прямо путеводитель по Европе образцового юного идеалиста. Спорим, в следующем году настанет очередь красной книжечки Мао, после уик-энда у Че Гевары, на Кубе. Новая тусовка элиты. Крестовый поход за свежим воздухом. Две недели на море. Мне хочется вернуться в Бирмингем, чтобы снова окунуться в дерьмо. Нужно подзарядить аккумуляторы.

Она слушала фугу Баха в исполнении «Крефти Дед». Партия тромбона просто неподражаема. Потом кто-то вмешался: поставили Вагнера. Она поморщилась. Вагнер в симфонической музыке – тот же Пуччини в опере.

– «Крафти Дед» бесподобны, ты не находишь? Особенно тромбон. Никогда не слышала ничего подобного.

– Ты видела? Они еще троих наших убили, в штате Миссисипи. И убийц даже поймали. Надеюсь, их заставят за это заплатить. Возмущение никогда не прекратится. В конце концов от возмущения все и взорвется к чертям.

Какое-то время она с нежностью смотрела на него, продолжая улыбаться, а потом вдруг глаза ее наполнились слезами и улыбка превратилась в дрожащую гримасу.

– Хочешь, я тебе скажу кое-что, Чак? Иногда я мечтаю забеременеть, только для того, чтобы начать наконец заботиться и о себе тоже. Ну, пока. Встретимся на занятиях. И спасибо тебе.

Она направилась к бару. Ей оставалось раздобыть где-нибудь еще триста франков, чтобы заплатить за клинику, но там не было никого из знакомых, разве что только бывший испанский дипломат, еще доисторических времен, до Франко, он вечно грузил вас со своей гражданской войной в Испании, будто с тех пор никто так и не сделал ничего лучше. Он спорил о чем-то с бывшим лидером польского Сопротивления. Должно быть, они мерялись числом своих погибших. Еще там был один румын, тоже бывший неизвестно кто какой-то бывшей партии, давно бесследно исчезнувшей. В Женеве было полно бывших, всяких разных. Молодой человек за фортепиано играл арию из «Моей прекрасной леди», но с такой публикой «Соната призраков» Стриндберга пользовалась бы большим успехом. Все активные участники прежних режимов съезжались в Швейцарию, сменяя на посту туберкулезников. Ее отца назначили на этот пост в Женеве, потому что это был способ вежливо препроводить его туда, где находились лучшие специалисты по нервной депрессии. Все началось в Болгарии, в 1948-м, с повешения либерала Ставрова. Ее отец заверил Аграрную партию, что Соединенные Штаты, которые состояли тогда в Союзной комиссии по контролю, никогда не допустят ликвидации демократической оппозиции. Однако Госдепартамент никакой такой инструкции ему не давал. Он действовал по своей собственной инициативе, руководствуясь своим идеализированным представлением о родной стране. Ему тут же промыли мозги и отозвали обратно в Вашингтон. И все же он успел надеть смокинг и явиться на официальный ужин в компании убийц Ставрова. Протокол, сами понимаете. Он никогда не позволял себе нарушать правила.

Она успела уже пожить в разных странах и знала слишком мало о слишком многом. Кроме того, у нее было такое тело, о котором ее отец говорил, что оно «все наружу», и поэтому она не осмеливалась даже носить свитера. Она свободно говорила на пяти языках, немного знала иврит и суахили; последние полгода работала над романом под названием «Нежность камней»; был один издатель, который им заинтересовался, но он хотел, чтобы она сама приходила читать его к нему домой, и ее тело стриптизерши из клуба «Батаклан» весьма способствовало их обоюдному смущению. У нее всегда были лучшие отметки в университете, но на улицах, как правило, обращали внимание совсем на другое. Джесс иногда ощущала, что ее было слишком много, слишком много Джесс со всех точек зрения. Собственная сексуальность постоянно была для нее проблемой номер раз. Никому и никогда не удавалось ее разрешить.

Ее мать ушла от них, когда они были на дипломатическом посту в Саудовской Аравии: лучше для этого страны не найти, в том смысле, что нет лучше страны, чтобы бросать все, включая мужа с дочерью. Потом она еще раз вышла замуж, за «кадиллак» последней модели. В День Матери Джесс всегда с почтением вспоминала о ней. О последней модели, разумеется. Мы все оставляем в душе небольшой уголок для нежности.

Она заказала «Кровавую Мэри», которую терпеть не могла, но зато к ней в придачу полагалась всякая вкусная мелочь, выставленная около кассы. Надо заметить, что с позавчерашнего обеда у генерального консула Италии ей не представилось возможности нормально поесть. После обеда он настоял на том, чтобы проводить ее до машины, а потом, в лифте, как набросится на нее: настоящее вооруженное нападение, ни больше ни меньше. Ко всему прочему, его резиденция находилась на третьем. Он собирался успеть за два этажа. Он, верно, спутал ее с растворимым «Нескафе» в пакетиках.

Ей очень хотелось попросить стакан молока, но тут такого не подавали.

У них в Швейцарии был самый высокий процент самоубийств. Впрочем, этот процент самоубийств у всех был самым высоким: в Швейцарии, в Дании, в Швеции, в Сан-Франциско. . . Показатель благосостояния.

Одну вещь ей все-таки никак не удавалось постичь. Хорошо, она была согласна на спираль. Но если вы, скажем, еще ни разу, как же тогда поставить эту спираль? Прямо квадратура круга какая-то.

Она взяла свой стакан и подошла к пианисту: Эдди Вейс, из Лос-Анджелеса. Молодые американцы заполонили Европу. *Weltschmerz. Sehnsucht*<sup>1</sup>. Вьетнам. Они удирали, как молодые разъяренные бычки бегут у Бласко Ибаньеса, в его «Крови и песке».

– Как дела, Эд?

– Не знаю, Джесс. Я стараюсь не всматриваться. Этот парень за стойкой сам не свой до твоего зада. Ему только электродрели не хватает. В Америке, там грудь, а в Европе всегда почему-то ляжки. Почему?

– В Европе – другая цивилизация, Эд. У них несколько иные ценности, чем у нас.

Она скрылась в туалете, чтобы исчезнуть из поля зрения, а вернувшись, обнаружила, что судьба наконец-то ей улыбнулась. У бара стоял, облокотившись на стойку, Франсуа, и она была почти уверена, что в прошлый раз вернула ему долг.

– Франсуа, я очень тороплюсь, не одолжишь мне триста франков?

Он поднес палец к губам: тсс! Он слушал, как какой-то тип возмущается в телефонную трубку. Умник из разряда «чего не хватает нашей молодежи, месье, так это войны». Естественно, он говорил об искусстве:

– Нет, я умываю руки. Я не доверяю рынку. Слишком высоко, это долго не продержится.

---

<sup>1</sup>Всемирная скорбь. Тоска (нем.).

Продавайте всё. Не торгуйтесь, старина. Я сказал: продавайте. Сплавляйте всех этих Пикассо, Браков, Хартунгов и Сулажей. Дюбюффе тоже. Знаю, знаю, он поднимается очень быстро, но скоро он свернет себе шею. Купите мне что-нибудь восемнадцатого. Рисунки, неважно. . . И редкие книги. Какие? *Редкие*, я вам говорю. Пора залечь на дно. Наступает время надежных ценностей.

Он повесил трубку. Франсуа смотрел на этого друга. Будто примерялся к его скальпу.

– Сколько ты сказала, Джесс?

– Четыреста. Я верну.

– Можешь ничего не возвращать, но и не бегай от меня. Вот, держи, здесь пятьсот. Ты ведь знаешь, я по-прежнему без ума от тебя.

– Не говори так, иначе мне обязательно придется вернуть тебе их.

– Ты сегодня газеты открывала? Жозетт Лонье арестована как девушка по вызову. Одна из самых богатых семей в Швейцарии. Ты можешь это понять?

– Думаю, она хочет быть независимой. Так, я побежала. Спасибо.

– Я тебя люблю.

– Франсуа!

– Ладно, ладно, беги.

Она, как всегда, столкнулась с вращающейся дверью, выскочила наконец на улицу и остановилась в некотором замешательстве. «Белые зубы, свежее дыхание» все еще был здесь, и волосы у него были еще светлее, чем прежде, если такое возможно. В общем, совсем блондин.

– Только подумать, вы уже полчаса улыбаетесь. У вас что, судорога?

Он вдруг стал очень серьезен.

– Послушайте, это вы здесь консул США, да? Я имею в виду эту табличку «КК»? Что вас так насмешило? У меня авария. Настоящая катастрофа, если хотите. Я на мели и никого здесь не знаю. Вы не могли бы меня репатриировать? Бог мой, и нет тут ничего смешного! Мне сказали, что консулы, в общем, могут репатриировать.

– Нужно обратиться в консульство и доказать им, что у вас нет средств к существованию.

– Доказать? Да им стоит только заглянуть в мой бурдюк. Там уже три дня как ни крошки не было. Я не просто голоден, я возмущен.

Они рассмеялись.

Бедняга, он и в самом деле был симпатичный малый. Она достала пятьдесят франков.

– Возьмите.

Она уже направилась к своему «триумфу», а он остался стоять там, где был, с деньгами в руке, и все летело к чертям. Он чувствовал Ангела у себя за спиной, как если бы тот и правда был здесь и чиркал ногтем о свою зажигалку: такие нервные, эти арабы, не то что их верблюды. Он отпустил ее еще на несколько шагов – тридцать метров, подходящее расстояние для стрельбы по мишени; девчонки, которые умеют твердо говорить «нет», как эта, от них ведь потом не отвяжешься.

– Эй!

Она остановилась как вкопанная. Только этого и ждала.

Он подошел. Сейчас, стреляя в упор, он при всем желании не мог промахнуться. Настоящая бойня.

– Зачем вы это делаете?

– Что?

Она не оборачивалась. Затылком чувствовала опасность, бедняжка. А хуже всего, что он тоже чувствовал опасность, и, кажется, ту же самую. Сердце бешено колотилось о стенки

аорты. Он приготовил свою шикарную идиотскую улыбку, но никак не мог ее нацепить. Внезапно он понял, что это было. Нехватка высоты. Он отвык. Он спустился слишком низко. Вот и результат.

– Зачем вы дали мне эти деньги? Я не это просил. Идите вы на фиг. Я вас еще не целовал, так что не за что меня благодарить.

Он не узнавал собственный голос. Он-то думал, что ломка уже прошла. Что ж, значит, он все еще мог разреветься только потому, что папа не пускает его гулять во двор и по телику нет ничего интересного?

Она обернулась:

– Не сердитесь. Вы мне их как-нибудь потом отдадите. – Она посмотрела на его лыжи и улыбнулась. – Вьетнам, значит?

– Не совсем. Скорее – объявление.

– Какое объявление?

– Ну, знаете, то, которое Кеннеди развешивал на каждом углу: «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спросите, что вы можете сделать для своей страны». Когда в один прекрасный день, в семь тридцать утра, я прочитал это на стене, я тут же смотал. Так быстро и далеко, как только было возможно.

Она смеялась.

– Не знаю, догадываетесь ли вы, но это очень по-американски, ваша реакция. Индивидуалистическая, как раньше говорили.

– Да, раньше. Но сейчас с этим покончено. У меня есть один приятель, который даже написал про это песню: «Прощай, Гари Купер». Помните, тот парень, что идет всегда один, никто ему не нужен, и в конце он всегда побеждает плохих.

Она внимательно смотрела на него.

– Да, правда, – сказала она. – Нам следовало бы сделать ее нашим новым государственным гимном. Что ж, прощай, Гари Купер!

Ока хлопнула его по плечу и села в машину. Нельзя не признать, что некоторые из этих юных американцев были чертовски красивыми парнями. Кажется, данный феномен следовало отнести на счет нового способа их кормления в младенчестве. Она научилась некоторым правилам по уходу за грудными детьми и даже работала в одних яслях в Конго, когда они с отцом были там в консулах.

Она искала ключи, которые держала в руке.

– Я скоро верну вам эти деньги. Где вас можно увидеть?

– Забудьте. Я богата до противоположного. Но если вам так необходимо, можете найти меня на озере, вон там. Я бываю там каждый день. На пристани, где собираются птицы. Приходите, если уж так хочется.

У нее сегодня днем должен был быть урок древнееврейского с израильским студентом, но это можно было перенести. Как бы там ни было, она больше не собиралась ехать работать в киббуц, куда рвалась в прошлом году. Не собиралась она и торчать каждый день под мостом, ожидая его. Он все равно не пришел бы, да это теперь и не важно. Бедный мальчик, такой потерянный. Куда смотрит ОЗЖ<sup>1</sup>? Нет, надо ехать, сейчас же, а то он Бог знает что может подумать. Она еще немного помедлила, но – нет, ничего: слишком робкий оказался. Она решила наконец найти ключи и отчалила, дружески махнув ему рукой. Бедный, он в самом деле был очень похож на птенца, вывалившегося из гнезда.

---

<sup>1</sup>ОЗЖ – Общество защиты животных.

Ленни сел на тротуар. Ангел вылезал из «форда». «Форд», надо заметить, был вовсе не черный. Зеленый. Не его тачка, это точно.

– Здорово провернул.

Ленни попробовал заговорить прежним голосом. Сначала – осторожно. С такими типами, как этот, нужно общаться по-мужски.

– Видел, да?

До басов немного не дотягивало, но все же работало. Он взял предложенную сигарету, добравшись тем самым до зажигалки.

– Должно получиться, Ленни.

– Получится.

– *Иншалла*, дай Бог.

Ленни обалдел. Он не знал, что этот друг, оказывается, еврей.

– Ты кто вообще-то? То есть откуда, из какой страны?

– Алжирец.

– Алжирец?

У него вдруг появилось сомнение. Предчувствие. Они всегда плохие, эти предчувствия, даже странно. Ни у кого никогда не было хорошего предчувствия. «Гороскоп, – вспомнил он. – Ну вот, приехали».

– Надо же... а вот Мадагаскар, слышал про такой? Это, случаем, не в Алжире, нет?

– Нет, зачем тебе?

– Низачем. Ты уверен? Потому что если Мадагаскар – это в Алжире, то я – пас, с девчонкой будешь разбираться сам.

– Да что тебе дался этот Мадагаскар?

– Скажем, мне там отказано в визе.

– Расслабься, это не в Алжире.

– Уверен?

– Черт, иди вон спроси у легавого, он тебе скажет, где этот твой Мадагаскар.

Ладно, хоть одной заботой меньше.

## Глава IV

Шапка из серого барашка, длиннющие черные усы, вощенные, с острыми концами, словом, таракан в горах, лицо, поражающее своей болезненностью, рябое (успокаивало хотя бы то, что оспой он уже переболел), грудная клетка бенгальского улана, все это вместе – в объективе «Полароида», с ореолом «Независимого швейцарского банка» над серым барашком. Пли!

- Ты его сделал, *бвана*?
- Прямо между глаз, старик. Точно.
- Метко стреляешь, *бвана*.

Им давно бы уже следовало завести в Швейцарии охоту на крупного зверя. Даже не ради трофеев, просто мелкая дичь ему противна. Отец Поля как раз и был охотником на крупного зверя в Швейцарии, но с другой стороны, он был банкиром.

– Смотри-ка, еще один. Египтянин? Тунисец? Мех, во всяком случае, что надо. Давай. Потом разберемся, что за птица.

- Хорошо, *бвана*.

Полароид обессмертил невысокого человека, с бархатными глазами, который очень беспокоился, когда устремился под благодатный банковский кров, зажав под мышкой толстый портфель.

Десять минут спустя двое фотоснайперов уже доставали из «Полароида» дымящийся трофей: левантинец с бархатными глазами, ужасный Гунга Ден, индеец в розовом тюрбане, потом еще трое арабов истинно женевского вида. Поль решил засунуть арабов подальше, они ему уже надоели:

Жил-был хранитель в Баальбеке,  
Хранил он верно яйца шейха.  
Одно, что поглаже,  
Без всяких плюмажей  
Берег в швейцарском банке.  
Но вот незадача,  
Для шейха тем паче:  
Другое, рябое, осталось в Мекке. . .

- Предлагаю Гунгу Дена.
- Естественно, *бвана*. . . Привет, Джесс!
- Я ищу вас с самого утра, голубчики, – сказала Джесс.
- Ты совершила сегодня хороший поступок, девочка?
- Да. Я пообедала как следует. Что нового?

Поль открыл дверцу машины:

– Залезай. Ты приглашена принять участие в Движении Соппротивления швейцарского народа. Партизаны. Герилья. Видишь того здорового зверя, что выходит сейчас из банка? Мы его только что завалили. Осталось шкуру снять. Идем.

- Что это еще за игру вы придумали?
- Это называется «оспаривание». Совсем новое изобретение. Сама увидишь.

Этот патан, гуркх, короче, наш Гунга Ден шел себе спокойно вдоль тротуара, а машина скромно пристроилась в нескольких метрах за ним.

- Не понимаю. Кстати, лучше всего заставляет думать именно непонимание.
- Это как раз то, что делает жизнь такой интересной. Смотри!

Гунга Ден только что вошел в кафе. Они поспешили занять соседний столик и заказали три стакана молока.

– Я иногда спрашиваю себя, что с нашим поколением: мы становимся ужасными пуританами, – сказал Поль. – Вот, например, ты, Джесс, ты даже не даешь мне переспать с тобой.

- Я неприспособленная.
- Это становится патологией. Дозволь посвятить тебе этот лимерик<sup>1</sup>:

Девчонка с факультета  
 Была чуть-чуть с приветом.  
 Все хотели ее снять.  
 Только станут подгрести –  
 У нее один ответ:  
 И не думай! Нет, нет, нет!

- Идиот.
- И тем обиднее, что это была правда.

– Встали.

Они подошли к Гунга Дену. Жан держал в руке еще влажный снимок.

- Извините, месье.
- Пожалуйста.
- Не интересуетесь ли фотопорнографией?

Глаза почтенного господина полезли на лоб, усы возмущенно топорщились. «Бедный малый, – подумала Джесс. – Какой он забавный! Обожаю экзотику. Это, должно быть, патан. Они там все патаны. Если только не гуркхи. Как же там было, в этом стихотворении? “. . . воин отважный на том берегу, зад его нежен, как бархатный персик. . .” Кажется, это из Киплинга. Это всегда из Киплинга».

– Простите, я ничего не понимаю.

– У нас здесь одна замечательная фотография с вами: вы входите в частный швейцарский банк. Естественно, нет ничего плохого в том, чтобы иметь секретный счет в швейцарском банке. Разве что, это карается смертной казнью у вас в стране. Через повешение, если не ошибаюсь.

Его вдруг раздуло в один момент, глазки стали узкими, как плоскодонные суденышки. Усы все так же браво топорщились, как два штыка, но теперь уже этим никого нельзя было ввести в заблуждение.

– Эта фотография ничего не доказывает.

– Bravo! Мораль – прежде всего. Никогда не признавайтесь. Даже когда этот снимок опубликуют в газетах вашей страны. В «Таимо, если быть точным».

Это был рискованный шаг, но у них там вечно одни «Таймсы»: «Бомбей тайме», «Карачи тайме», «Багдад таймс».

Бедняга был напуган до смерти. На висках у него выступили капли пота. Нет, это явно был не патан. Или же, с тех пор как они потеряли Англию и Киплинга, они наплевали заодно и на героизм.

– Полагаю, вас генерал Хаким подослал?

<sup>1</sup>Лимерик – шуточное стихотворение в английской литературе.

– Это г...г...гораздо серьезнее, – сказал Жан.

Джесс нравилось его заикание. Люди, которые заикаются, почти всегда очень мягкие по натуре.

– Мы участвуем в Швейцарском национальном освободительном фронте, первая пуританская дивизия, под к...к...командованием генерала К...Кальвина.

Несчастный весь взмок от волнения. Странно, однако, видеть, Гунга Дена, потеющего в центре Женевы.

Джесс пришла в голову гениальная мысль.

– Генерал Кальвин, вы же знаете. Этот знаменитый еврей.

– Еврей?

Он сглотнул.

– Я хочу купить у вас эту фотографию.

– Прекрасно. Вы отдаете нам все наличные, которые у вас при себе, и ваши часы. Да, и рубин тоже. Вот вам фотография и негатив, с наилучшими пожеланиями от генерала Кальвина. Так, теперь вы свободны. – Он встал. – А кто это, генерал Кальвин?

– Моисей Кальвин. Наш духовный наставник. Главный муфтий Женевы. Это наш Ганди, вот. Че Гевара, если хотите. Короче, Даян<sup>1</sup>. У вас двадцать четыре часа, чтобы покинуть Женеву, в противном случае вас ждет Тель-Авив.

Она вдруг заметила, что Поль уже приложился. Лицо у него было бледное, как у ярого фанатика, нос кверху. В один прекрасный день он точно что-нибудь взорвет: не голова, а пластиковая бомба. Он только об этом и говорил. И все – из-за того, что ненавидел папулю. Однажды он нашел в рисовом пироге, одном из тех *fortune cookies*<sup>2</sup>, которых навалом в китайских ресторанах, один афоризм, который весьма его позабавил, потому что это доказывало, что даже китайские рестораны были теперь не те, что прежде. В нем говорилось следующее: «Ты не должен убивать отца своего, если только это не будет добрым делом». Она передала Полю клочок бумаги.

Несчастный багдадец уже ничего не понимал. Она потянула Поля за руку: он сжимал кулаки. Гунга Ден был здесь совершенно ни при чем. Оставалось признать, что старые добрые отношения между причиной и следствием приказали долго жить. Родителям повезло, у них были Гитлер и Сталин, на которых можно было все свалить, но сегодня уже не было ни Гитлера, ни Сталина, и виноватым оказывался практически каждый первый. Если вы были негром в Соединенных Штатах или парией в Индии, вы хотя бы четко представляли, о чем, собственно, речь, но если вы были молодыми белыми, заваленными дипломами и прекрасно информированными, все значительно усложнялось. Поль говорил, что «перманентная революция» представляла собой нечто вроде воздействия живописи Джексона Поллока<sup>3</sup> и «непосредственных», непрерывное творчество. Да, но что они создавали? Сделать что-либо, чтобы потом это переделать, с тем, чтобы создавать и тут же перевоплотить созданное в нечто новое, таково было эстетическое видение мира современного общества. Может быть, как писал Хо Ши Мин, анархия и искусство двигались по направлению к полному слиянию, но это ставило ребром вопрос о смерти.

Они вышли из кафе и даже помогли подуставшему Гунга Дену сесть в такси.

<sup>1</sup>Моше Даян (1915-1981) – израильский политик, генерал.

<sup>2</sup>Пирожок счастья (*англ.*).

<sup>3</sup>Джексон Поллок (1912-1956) – американский живописец, глава «абстрактного экспрессионизма», пропагандировавшего интуитивное, не контролируемое разумом творчество; покрывал большие полотна узором из красочных пятен.

– Приятный человек, – сказала Джесс. – Я видела напечатанные в «Тан» фотографии детей, которые умирают от голода в его стране.

– Осторожно, Джесс. Не трогай святое. Это был всего лишь студенческий розыгрыш, ничего больше. Никакой общественной цели. Просто игра. Во всех сумасшедших домах игра рассматривается как рекомендуемое средство терапии.

– Вспомни, что они там, в Праге, говорили, реабилитировав Сланского<sup>1</sup>, после его повешения?

– Они говорили: «Что за идиотские игры!» Если так говорить, фашизм никогда не исчезнет. Они всегда найдут что-нибудь еще более отвратительное. Фашистский романтизм, это как соцреализм: обыкновенная демонстрация самой мощной духовной силы всех времен. Идиотизм.

Из кафе выбежал официант и уставился на них, как теленок, которого внезапно осенило, и он вдруг с ужасом осознал, что его мать – корова.

– Извините... Вы кое-что забыли...

Он держал в руках доллары, часы с платиновым браслетом и рубин. Поль поморщился:

– Ну и что? Бросьте это в помойку.

Швейцарец был уничтожен. На лице у него появилось странное выражение, как будто он считал падающие на пол блюда.

– Что с... с вами? – забеспокоился Жан. – Давно известно, что в других Солнечных системах есть мыслящие существа. А для мусора – мусорные бачки.

– Вы не можете это сделать, – сказал примерный гражданин с сильным водуазским акцентом. – Здесь же целое состояние.

– Он прав, это отдает атеизмом, – согласилась Джесс.

– Мадемуазель, – сказал официант, – я мог бы быть вашим отцом...

– Вот свинья, – возмутилась Джесс. – Вы хотите, чтобы я позвала полицию?

– Вы не можете делать подобные вещи в Швейцарии.

– Отчего же? Это «Моральное перевооружение»<sup>2</sup>. «Моральное перевооружение» в Швейцарии.

Они сели в «порше» и медленно тронулись к озеру.

– Зато с... сделали что-то п... полезное... – заметил Жан.

– Ну, хватит, – процедил сквозь зубы Поль. – Забавы богатеньких сынков. Расстреливать таких надо. К сожалению, если, скажем, мне позволено было бы выбирать, я не вижу вокруг ни одного человека, которому хотел бы поручить собственный расстрел. Вы не могли не заметить, что все мои речи звучат напыщенно и вычурно до отвращения. По крайней мере, в одном деле марксизм преуспел: мы все обречены кончать в одиночестве. Это то, что называется «абсурдом».

Альбер Камю, пророк абсурда, погиб в абсурдной автомобильной аварии, и это, кажется, доказывает, что он ошибался и что в жизни все-таки есть определенная логика. В конце концов, «Смутное отчаяние» в качестве названия – лучше, чем «Нежность камней». Джесс Донахью, лауреат Нобелевской премии за стремление к чему-то. В общем, все это уже было задолго до нас. Раскольников, например, мучившийся «болезнью века», потом *Weltschmerz*<sup>3</sup>,

<sup>1</sup>Рудольф Сланский (1901-1952) – чехословацкий политик, генеральный секретарь компартии, был обвинен в антигосударственном заговоре и казнен; реабилитирован в 1968 г.

<sup>2</sup>«Моральное перевооружение» – христианское движение, проповедующее преобразование мира через преобразование личной жизни.

<sup>3</sup>Всемирная скорбь (*нем.*).

или «нигилизм», путешествие словаря сквозь века. Даже в сонетах Шекспира не было следа надежды. Правда, они тогда все поголовно болели сифилисом. . . Глубокая грусть сонетов Шекспира и всей лирической поэзии современной ему эпохи связана с тем, что любовь в то время почти всегда сопровождалась сифилисом. Семеро из десяти разносили эту гнилостную заразу. Вот почему стихи о любви звучат так грустно. От этого теряли разум или зрение, и не было никакого средства его вылечить. Поэтому любовь становилась чем-то ужасно важным: вопросом жизни и смерти, буквально. Сегодня любовь бесследно исчезла из современной литературы. Она потеряла свою важность и трагический характер, когда избавилась от сифилиса. Кстати, это могло послужить неплохим сюжетом для статьи в «Швейцарском ветеринарном журнале», где Джесс вела литературную страничку. Над ней посмеивались, потому что она писала для этого журнала: мужчины не любят интеллектуалок.

Еще она умела махнуть на себя рукой, что являлось необходимым условием психологического выживания. Французы не понимали юмора: у них всегда складывалось впечатление, что все шутки метят в де Голля.

– Я не говорю, что де Голль – антисемит. Нет, совсем наоборот. Для него все люди равны. Он не антисемит, но он хочет, чтобы евреи были ему за это благодарны. А это и есть антисемитизм.

Она уже готова была переспать с Полем, тогда, в самом начале, но они вместе принимали участие в «долгом марше» протеста против бомбы, в Англии, в 1962-м, они оба состояли в Женевском Комитете по борьбе с расовой дискриминацией, они испробовали полицейских дубинок, выступая бок о бок с Карлом Бёмом<sup>1</sup> во время операции «Иерихон» против Берлинской стены; все это не могло не отразиться на их личных отношениях, которые тоже стали чисто платоническими. Теперь уже сложно было вот так, вдруг, сбросить с себя одежды и перейти непосредственно к действию. Ко всему прочему примешивалась еще и мужская пропаганда. Они старались сорвать с любви покров таинственности, охаивая ее «буржуазной сентиментальностью», только затем, чтобы снять ее без лишних хлопот. Стоило ополчиться на потребительское общество, когда любой ценой пытаются превратить сексуальное удовлетворение в продукт ширпотреба! Словом, озабоченное поколение.

– И что самое гнусное, так это то, как они стараются замутить воду, – говорил Поль. – Дубасят прово<sup>2</sup> в Амстердаме? – прекрасно. Но этот их отеческий тон, когда они толкают тебе фуфлю типа: «Нужно понимать молодежь, нужно доверять молодым», это же просто смешно. Они пытаются создать новый класс: «молодежь». С какой целью? Чтобы внести элемент разнообразия в *настоящую* классовую борьбу, которую одну только и можно считать настоящей. Изобретают себе класс молодежи, внутри которого пролетариат и буржуазия должны, по идее, объединиться в братском союзе. Короче, нейтрализация.

С Полем она познакомилась в Университете, а с Жаном – в Саудовской Аравии, где ее отец находился в качестве поверенного в делах Швейцарии. В Саудовской Аравии был один из самых трудных дипломатических постов, которые им с отцом приходилось занимать: мухи, знаете ли, и потом, вас даже не пускают в мечети. У детей дипломатов жизнь была какая-то совершенно нереальная: играли в теннис на посольских кортах и разговаривали о повешенных и голоде так, будто это происходило на другой планете; история жужжала, жужжала вокруг вашего теннисного корта, но входить ей запрещалось; так, закупоренные в экстерриториальной зоне, вы начинаете чувствовать себя внеземным существом. Вам не дают проникнуться несчастьями той страны, где вы находитесь: это было против хорошего тона в дипломатии. Вы

<sup>1</sup>Карл Бём (1894-1981) – австрийский дирижер, руководитель Дрезденского и Венского оперных театров.

<sup>2</sup>Прово – молодежь, выступавшая против существующих порядков в Нидерландах в 60-е гг.

пребывали в каком-то состоянии невесомости; вам запрещалось возмущаться, выражать свое мнение; следовало быть вежливым с последней сволочью, которая сегодня захватила власть, нужно было принимать национализм как «необходимую ступень», приветствовать «священное право каждого народа на самоопределение», которое, в сущности, было не чем иным, как правом подставлять свой народ, подтасовывая результаты выборов. Маккарти, помнится, имел в свое время и красных «коммунистов», и «голубых» Госдепартамента, но даже он не трогал алкоголиков. Странно все-таки. . . Самыми уязвимыми оказывались те, кто хуже всего переносил неприкосновенность.

Они проводили ее до «триумфа», она села за руль и отправилась в клинику за отцом.

## Глава V

Парк был красивый, с тихими деревьями и кустами роз, желтых и белых; овцы спокойно пощипывали себе травку на зеленых лужайках, которые были ничуть не хуже вергилиевских, и, наконец, во всем мире трудно было найти другое такое место, где шизофреника кормили бы лучше. Очевидно, главная и единственная цель состояла в том, чтобы всевозможными военными хитростями вызвать у пациентов интерес к реальности. В прошлый раз, например, ей довелось услышать беседу больного, страдающего маниакальной депрессией, с параноиком, обсуждавших достоинства морского языка в заварном тесте по-королевски и осетра фаршированного а-ля Ватель<sup>1</sup>. Забавно. Администраторша, сухопарый седеющий стручок в костюме от Шанель, уже подготовила счет, лежавший сейчас у нее на столе, но это было такое заведение, где не принято удерживать ваш багаж, даже если вам нечем расплатиться. Слишком респектабельное. Во всяком случае, они принимали дипломатов, даже нищих, это был вопрос престижа. Она уже продала старинный золотой портсигар русской работы, которым ее отец очень дорожил, но у них оставалось еще несколько роскошных ковров. К тому же в Госдепартаменте обещали повысить выплаты на размещение. В любом случае надо было на что-то жить и хорошо выглядеть, мы – Дипломатический корпус или кто?

– Не могли бы вы отправить счет в Консульство? Я не уверена, что у отца чековая книжка сейчас при себе. Как он?

– Очевидное улучшение, мисс Донахью. Честно говоря, хотя мы здесь стараемся избегать подобных утверждений, ко мы считаем, что он совершенно выздоровел.

– В прошлый раз вы говорили то же самое. Мне двадцать один год, и я никогда еще не видела хронического алкоголика, который бы *совершенно выздоровел*. Все, чего можно добиться в таких случаях, это научиться с этим жить.

Улыбку дамочки немного скривило.

– Конечно, следует подождать еще какое-то время, прежде чем вынести заключение.

Одно из самых идиотских клише в психиатрии – это утверждение, что алкоголики пьют, потому что не могут приспособиться к реальности. Ведь человек, который умеет приспособиться к реальности, – обыкновенный сукин сын, вот и все.

Отец спускался по лестнице: довольно красивый еще мужчина, моложавый, со смеющимся взглядом; при его появлении на вас веяло спокойной силой и уверенностью, исходившими от него, он распространял какую-то внутреннюю дисциплину, абсолютное самообладание; всем своим видом он, казалось, говорил: «Итак, поделитесь с нами, полагаю, я смогу решить все ваши проблемы». Он, как никто другой, заслуживал первого приза в искусстве показывать товар лицом на улице Фобур-Сент-Оноре<sup>2</sup>. Досадно только, что на складе не оказалось достойного товара, который мог бы произвести надлежащий эффект, когда его так мастерски выставляют в витрине. Эта улыбающаяся уверенность помогала ему лишь в методическом саморазрушении. Может, у него были для того какие-то глубоко лежащие причины, коих она не могла постичь, однако Джесс не верила в эти тайные пропасти, в которых психоанализ

---

<sup>1</sup>Ватель – метрдотель принца Конде; умер трагической смертью, о чем повествует мадам де Севилье: на званом обеде, который давал принц в честь Людовика XIV, рыба не была подана вовремя, Ватель счел себя обесчещенным и покончил с собой.

<sup>2</sup>Улица в одном из центральных округов Парижа, местонахождение нескольких посольств, здесь же находится бывший особняк Э. Ротшильда, приобретенный правительством США.

ищет собственные фантазии. И что вообще это значит – «глубина»? Чрезмерно раздутая банальность гомосексуализма и эдипова комплекса? Это – ваша пропасть? Не удивительно, что подрастающее поколение уже не может слушать о Фрейте без смеха. Ее отец мог бы получить самых богатых невест, самые лучшие дипломатические посты, самых красивых любовниц: к счастью, он был слабым, уязвимым и обожаемым, и у него была только она. Он обнял ее за плечи и поцеловал в щеку:

– Пойдем скорее, Джесс, ужасно хочется пить.

Она рассмеялась, но прогресс и в самом деле был: руки его перестали дрожать. Так, в обнимку, они и дошли до машины. Он спешил как ненормальный, и что замечательно, старая лесбиянка ни словом не обмолвилась о выписанном счете. Все-таки, надо признать, учреждение было высокого класса. Мы, пожалуй, опять сюда придем.

Он ждал, пока она положит его чемодан на заднее сиденье. Чтобы он позволил ей таскать его чемоданы? Если он даже не попытался помочь ей, значит, физических сил у него просто не было. Нет, не из-за плохого ухода – ему мучительно не хватало алкоголя. Когда-нибудь она еще напишет кое-что по этому поводу.

Они медленно покатали под аркадой старых цветущих каштанов.

– Ну, Джесс, я слушаю. С какой скоростью мы идем ко дну?

– Сейчас пока ничего серьезного. Поставщики невнятно угрожали пожаловаться в Протокольный отдел, но они все время так делают. Швейцарцы терпеть не могут дипломатические привилегии, так что, когда им удастся наложить лапу на одного из нас, начинается травля. Нет, правда, эти деньги, они у меня уже вот где. . . В общем, понимаешь, что я хочу сказать.

Он рассмеялся. Она обожала эти морщинки, которые расходились вокруг его глаз, когда он смеялся. Все вокруг говорили, что она влюблена в своего отца. И что он влюблен в свою дочь. Что с них взять – это составляло неотъемлемую часть интеллектуального багажа среднего дебила. Однако они не постигали всей серьезности положения. Она любила его, как любят своего ребенка.

– Знаешь, я иногда жалею, что ты такой, какой ты есть.

Он собрался рассердиться.

– Джесс!

– Да, я жалею, что ты – не мерзавец. Нам было бы гораздо спокойнее. И моя мать тебя бы не бросила.

– Может быть, я им когда-нибудь и стану. У меня, ты знаешь, тоже есть свои великие мечты.

– Ну и до чего ты домечтался?

– До полного выздоровления! Иногда я просыпаюсь посреди ночи и ничего не чувствую. Абсолютно ничего. Настоящий триумф. Какое-то волшебное отсутствие всего и вся. Словом, могу сказать, что я тоже познал счастье. Или вот еще, снится мне, что я сижу на берегу озера прекрасной лунной ночью, и – не чувствую ничегошеньки. Да, думаю, я выздоровел.

– Чехов, – сказала она.

– Может быть, и Чехов. Конец чего-то. Но одна ласточка весны не делает. Я хочу сказать: если один споткнулся – это еще не упадничество. Над этим нужно много работать. А ты?

– Всё то же. Приятели потихоньку тупеют. Мне за них просто страшно становится, бедные швейцарцы, они защищены буквально от всего. Они постепенно превратились в огромный дипломатический корпус. Неприкосновенность. Под колпаком, ни щелочки. Колпак – прочный, на все случаи жизни, но они там, внутри, погибают. Карл Бём приехал из Берлина. Он ищет фондов на их новые оргкомитеты. Клянется, что там, в Германии, студенты уже готовы

взорвать всё и вся. Поль Жамме переходит от анархизма к нигилизму, останавливаясь перекусить у Кастиеля и в Сен-Тропезе. Он пытается изменить мир и переспать со мной, его так и тянет на неудачи.

– Ничего нового... на этом фронте?

Она задумалась на секунду. Он все еще торчал у нее в голове, со своими лыжами, улыбающийся, красивый, какими могут быть американцы, если захотят. Но не станет же она заливать о том, чего нет. С теми пятьюдесятью франками, которые она ему дала, он сейчас, наверное, уже опять умахнул в свои горы.

– Ничего.

– Ну, а кроме этого?

– В одной газете написали, что то, чего нам не хватает – молодежи, я имею в виду, – так это войны; собственно, они не сообщили ничего нового о молодых, скорее – о стариках, и порядочно. Твоя дочь становится ужасно утонченной, с изысканными стремлениями, с душевной тканью такого отменного качества и Weltschmerz столь хрупкой и деликатной, что в путеводителе «Мишлен» мне должны были бы навесить три звездочки, не меньше<sup>1</sup>. Вместе с тем французы не сдают своих позиций, они уже не первый век декаденты, так что я не очень переживаю... Как твоя бессонница?

– Я становлюсь более находчивым. Раньше я просто лежал без сна. А теперь я отпускаю веревочку, засыпаю, но тут же спохватываюсь и просыпаюсь.

Юмор не скрывает правды. И тем не менее даже если он не убедил Ставрова в том, что «правительство Соединенных Штатов никогда не допустило бы, чтобы сталинский кулак положил конец демократическим устоям», Ставрова бы все равно повесили, как и Трайчо, Костова, Райка и Сланского. Угрызения совести были заложены где-то очень глубоко и так просто, как загар, не сходили. Человек, достойный носить это гордое имя, всегда будет чувствовать себя виноватым, именно по этому признаку и определяется человек, достойный своего имени.

– Как на этот раз прошло твое рабство? Ужасно?

– Меньше чем обычно. Они устроили переходный этап. Уколы гепатизированным алкоголем... Предотвращает галлюцинации. – Он рассмеялся. – Забавно. Первый синдром рабства, когда они вырубают вам живую воду, – это галлюцинации... Первое соприкосновение с реальностью. Это должно о многом говорить, только не знаю, о чем. Я встретил там нескольких друзей. И среди прочих – Арбуа, бывшего посла Швейцарии в Москве. Тридцать лет карьеры. Он все время листает ежегодный телефонный справочник, чтобы наладить контакт с реальностью и живыми людьми. У него уже накопилась приличная подборка этих справочников, со всего мира, в том числе и из Москвы. Он считает, что это – одна из лучших книг, которые когда-либо были написаны, насыщенная правдой и переполненная людьми, которые в самом деле существуют. Он даже прочел мне вслух несколько замечательных страниц из нью-йоркского, и иногда он заказывает телефонные переговоры с Буэнос-Айресом или с Чикаго, пытается убедиться, что книга не обманывает, что всё это – не мифология и эти люди действительно существуют. Что ты хочешь, тридцать лет быть дипломатом... Время от времени, чаще всего посреди ночи, он вызывает к телефону сам себя, чтобы удостовериться, что и он реально существует, что это не самообман. Очень недоверчивый господин. Зеркалам он тоже категорически не доверяет, по его мнению, они совершенно ничего не доказывают: обман зрения. Вот так. Вы видите вокруг слишком жестокую реальность, которая, однако, не может вас коснуться, вы – вне всего, под стеклянным колпаком дипломатической неприкосновенности, а

<sup>1</sup>Во французском путеводителе «Мишлен» тремя звездами отмечаются главные архитектурные ансамбли и крупнейшие исторические памятники, как, например, Лувр, площадь Согласия и пр.

кончается все тем, что посреди ночи вы зовете самого себя к телефону, чтобы убедиться, что вы еще существуете реально, что вы еще здесь. Я думаю подать в отставку. Листая журналы, я тут решил, что мог бы неплохо зарабатывать манекенщиком, кажется, им нужны зрелые уважаемые мужчины, знаешь, в духе «седеющие виски». «Швепс», «Кэмел», «Бурбон» и все такое прочее. Может быть, я просто пытаюсь доказать, что Аллан Донахью все еще способен удивлять. Ты не находишь, что я слишком самоуверен. . .

– И когда ты перестанешь наконец пытаться избавиться от себя самого, дорогой мой папочка?.. Мне кажется, что юмор, он, как и все остальное: в основном сходит на нет.

– Тем временем я принял важное решение. Я несколько подотстал на профессиональном поприще. В последнее время я не предпринимал решительных действий для достижения целей нашей внешней политики. Так что теперь мы дадим большой коктейль, как обычно в подобных случаях. Если мне не изменяет память, последний коктейль у нас был в честь Берлинской стены. То есть против, я хочу сказать. Никакого шика, сотни приглашенных будет достаточно. Чтобы совсем уж не забывали. Можем продать наш императорский золотой портсигар. Это помогло бы нам продержаться на плаву еще какое-то время. – Золотой портсигар уже уплыл. – И все же меня весьма интересует, собирается ли американская дипломатия что-либо предпринять, чтобы положить конец этой ужасной Берлинской стене.

– Она не станет приглашать русских на наш коктейль, вот что она собирается предпринять.

– Студенческий кружок увешан фотографиями этого мальчика, которого они послали умирать на то минное поле.

– Дети должны оставаться детьми. Таково мнение русских, насколько я могу судить.

– А потом нужно идти на занятия по литературе и изучать Малларме!

– Да, нужно иметь сильный характер.

– Неужели Америка правда *ничего* не может сделать?

– Я обещал врачам больше не прикасаться к алкоголю. Это – единственное заявление, которое я готов сделать в данный момент.

Он теребил рекламную брошюрку, которую достал из бардачка.

– «Самсон Далила со своими кошечками». . . Что это еще такое? Джесс, почему ты плачешь? Если из-за Берлинской стены, то, право же. . .

– Я продала твой портсигар неделю назад. Бакалейщик серьезно угрожал подать жалобу в протокольный отдел. . . Но у нас еще остался персидский ковер. . . Ах, это. . . это – новая рок-группа, знаешь, как «Черные носки» или «Крафти Дед». . . Это такая прорва, такая. . . Я больше не могу. Одна спасательная операция за другой. . . невыносимо!

– Самсон Далила со своими «Черными носками». . . то есть со своими кошечками. . . Да! Но кто знает, может быть, они и правы, в конце-то концов. Они стойко принимают вызов, брошенный молодым вселенской нелепостью. . . Думаю, нам стоит сходить послушать этих кошечек. Кажется, у них в самом деле есть что сказать.

– Полный ноль. Рэй Чарльз приезжает на следующей неделе, и Поль обещал достать билеты. Одни только негры чего-то еще стоят, несмотря на конкуренцию.

– Знаешь, улыбка у них кажется шире, потому что губы у них толще. Мои иллюзии южанина насчет черной расы испарились. Я-то надеялся, что между нами и правда есть какая-то разница, а теперь. . . даже не знаю.

– Ты никогда не принимаешь меня всерьез, да? В твоих глазах всегда такое веселье, когда ты на меня смотришь. Знаю, на меня смешно смотреть. Да только это – *твоя* шутка. Это ты так пошутил. И глупо смеяться над собственными шутками. По-французски сказали бы: «*Zut!*»<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Черт! (фр.).

– Есть кое-что, Джесс, чего я никак не могу понять. Мы находимся по другую сторону границы, во Франции. Двадцать минут на машине – и ты уже в Женеве. Получается, у нас – две страны, две возможности делать долги, вместо одной, которой обычно располагает дипломат. Идеальная ситуация. Как же тогда получается, что мы так быстро исчерпали наши фонды сразу в двух местах?

– Объединение Швейцарии и Франции, хуже ничего и быть не может. Им нельзя доверять. Их уже не проведешь. Ты можешь щеголять в костюме от Балансиаги, они все равно знают, что ты на мели. Эти два народа самые чувствительные и восприимчивые в мире, если речь идет о деньгах. Очень старая цивилизация, этим все и объясняется.

– Как пожелаю им всем «Самсона Далилы с его кошечками»! Ты выкарабкаешься, Джесс. Я в тебя верю. Что с этого персидского ковра, так он только глаза мозолит. Пусть лучше летит нам на помощь.

Весь путь от Женевы до границы был усыпан розовым снегом цветущих вишен и яблонь, к тому же как раз сейчас наступил сезон бабочек: тысячи и тысячи бело-желтых воздушных созданий кружили в вихре брачного танца; ей было страшно и противно смотреть, как они разбиваются о лобовое стекло, как их маленькие тельца расплющиваются, приликая с другой стороны, однако не станет же она переживать еще и из-за бабочек, нужно все-таки меру знать. Да, она становилась более черствой. Хватит строить из себя Марию Башкирцеву, размазывать соплю конца века, «ту вазу, где цветок ты сберегала нежный, ударом веера толкнула ты небрежно»<sup>1</sup>, все эти телячьи нежности Сюлли-Прюдома, к черту эту чувствительную сумеречную размазню, подайте нам «Крафти Дед» и «Черные носки». Таможенники встретили их обычным приветствием: «Здравствуйте, мадемуазель Донахью, здравствуйте, господин консул», и они проехали без очереди, сопровождаемые яростным взглядом швейцарских автомобилистов, которые совершенно справедливо полагали, что привилегии дипломатов принадлежали к прошедшей эпохе, как и сами дипломаты.

Дом находился в глубине сада, в сотне метров от дороги, и запах сирени и роз тянулся за Джесс до самой кухни, куда она пошла отнести корзину с провизией и озерного гольца от Монье, лучшего кулинера в Женеве; так или иначе, все постепенно устраивалось. . . но когда она вошла в гостиную и увидела его сгорбленные плечи – он стоял к ней спиной, читая письмо в желтом полумраке штор, – сердце ее упало, и она выкрикнула, злобно, с той визгливой, почти истерической ноткой, которая появлялась в ее голосе, когда ей было страшно:

– Что еще, Господи? Что опять случилось?

Он медленно обернулся. Однако прочесть что-либо по его лицу было невозможно. Лицо – это единственное, что он еще был в силах контролировать. Ироничное выражение скрывало все: это было одно из тех типично американских лиц, с сильными чертами: люди с такими лицами умеют притворяться до конца, что бы ни случилось. . . Может, это всего лишь было письмо, в котором сообщалось, что ее мать умерла. . . Нет: желтая бумага официальных сообщений. Может, их отправляли в Конго или еще что-нибудь в этом роде. . . Что ж, она станет собирать африканские маски. Она отчаянно пыталась сторговаться с судьбой.

– Ну, что за катастрофа на этот раз?

– Сожалею, Джесс. Меня отзывают. Точнее – досрочная отставка. Они стараются быть вежливыми.

Она опустила в кресло.

– Боже мой, вечно это мелкое пакостничество. . . Всего два дня назад я ужинала с Хоббардом, и он ничего мне не сказал.

---

<sup>1</sup>Перевод А. Апухтина.

- Он тактичный человек.
- Да, знаю. Все мерзавцы провоняли этим тактом.
- Справедливости ради надо сказать, что я был не слишком полезен на этом посту.
- Ты еще будешь заступаться за Госдепартамент? Ну знаешь, это уже мазохизм какой-то.
- А почему ты считаешь, что добросовестный американский налогоплательщик должен платить за хронического алкоголика?
- Потому что он – американский налогоплательщик, вот почему. За все остальное он уже заплатил, разве нет?

Он рассмеялся. Слава Богу. Это было единственное, что ей оставалось, – юмор. Она откинулась на спинку кресла, размышляя, откуда ждать следующую шутку. Даже если эта шутка окажется уморительной до колик, она не расплачется. Сейчас они улыбались друг другу весьма убедительно.

– С этого момента мы более не несем ответственности за американскую внешнюю политику, Джесс. Мир может пойти прахом, нас это больше не касается.

– Свобода! Наконец-то. Это надо отметить.

Она отправилась на кухню за бутылкой сидра и заметила записку, оставленную горничной на столе, на самом видном месте: «*Мадмазель, я хочу, чтобы мне заплотили или я ухожу*». Две ошибки, точка, вот и все. Она вернулась с подносом в гостиную.

– Знаешь, что сказал Наполеон, когда вернулся из похода на Россию, после полного разгрома, уложив там миллион своих солдат, и застал жену в постели с другим?

– Нет, Джесс, не знаю.

– Он сказал: «Ну вот, наконец-то личная проблема, для разнообразия!» Так написано у Таллера. Так что вам остается только изучать жизнь Наполеона, чтобы не допускать тех же ошибок. *Cheers!*<sup>1</sup>

Черт побери, сильных и твердых людей полно. Но они все как ты – добрые, щедрые, не изворотливые, не способные делать больно и, скажем прямо, слабые, это те люди, которые спасают честь. Это герои разбитых горшков. Они расплачиваются.

Она собрала стаканы и поставила их на поднос.

– Я возвращаюсь в Женеву. Ты знаешь такого графа фон Альтенберга? С моноклем и замком в Лихтенштейне. Он предложил мне работу, Я сперва отказалась, но, кажется, он вовсе не плейбой, а крупный делец, так что, может быть, это серьезно. Схожу к Хоббарду. Надо сказать ему пару слов.

– Он здесь ни при чем.

– Я знаю. Но мне нужно выплеснуть все, что накопилось. Самая банальная агрессивность, ничего больше.

– Это естественно. . . для моей дочери.

Да, я знаю, конечно, можно смеяться над самим собой, делать вид, что тебе все равно, и в то же время постоянно тянуться к виски, выцеживая по две бутылки за день. В машине она разрыдалась, а потом, выплакавшись, стала сочинять, что наговорит генеральному консулу; но, остановив машину у входа в консульство, она не стала выходить: к чему это все, он просто-напросто заведет свою шарманку «Консула» Менотти<sup>2</sup>: очень сожалею, но распоряжение поступило из Вашингтона, меня они даже не спрашивали. . .

<sup>1</sup>Будем здоровы! (англ.).

<sup>2</sup>Джан Карло Менотти – американский композитор; «Консул» (1950) – одна из его опер в духе веризма, написанных им на собственное либретто.

« – Не могут же они просто так уволить человека, после тридцати лет службы, на семнадцати постах. . .

– Аллена не уволили, а отправили в отставку. Нас всех это ожидает.

– Он должен был работать еще восемь лет и. . .

– Джесс, вы же знаете причины не хуже меня.

– Хорошо, он пьет. А другие?

– За последние несколько лет Аллену пришлось провести в различных клиниках в общей сложности полгода. Подобные вещи в конце концов начинают бросаться в глаза. В Госдепартаменте были вынуждены переводить его с одного поста на другой. . . »

Сидя за рулем своего «триумфа», она сводила счеты с Хоббардом, с Госдепартаментом, с Карьерой:

« – Джим, назовите мне хоть одного посла Соединенных Штатов, у которого не было бы этой drinking problem<sup>1</sup>. Они все пьют. Иначе эта работа была бы просто невыносимой. Хотите имена?

– Джесс, прошу вас. Это смотря как пить. . .

– Сколько у вас уже было инфарктов, Джим? Два, если не ошибаюсь. Почему ваша жена никогда не сопровождает вас в ваших назначениях? Даже в Карачи? Как же его звали, этого посла США в Токио, – выдающаяся личность, кстати, и имя у него было такое известное – он еще время от времени покушался на самоубийство? Вы прекрасно знаете, что это такое: неприкосновенность. Вы сидите под своим стеклянным колпаком и смотрите, как вокруг поднимается море крови; а иногда вы пересекаете это море в своем «кадиллаке», чтобы нанести официальный визит дуайену дипломатического корпуса или передать убийцам «вербальную ноту», в которой «правительство Соединенных Штатов имеет честь сообщить правительству Ирака, что. . . ». Вы вернулись как раз вовремя, чтобы успеть на прием, который вы даете в честь коммерческой делегации, прибывшей, чтобы делать дела с палачами. . .

– Знаю, Джесс, я все прекрасно понимаю. Но мы здесь только наблюдатели. . .

– Зрители. . .

– Если хотите.

– До свидания, Джим.

– До свидания, Джесс. Надеюсь, вы придете на ужин на следующей неделе.

– Спасибо.

– Если я могу быть вам хоть чем-то полезен, только скажите».

Какой он все-таки подлец. Незачем было даже идти с ним разговаривать. Она отъехала и бесцельно покатила вдоль озера. Единственное, что ей сейчас оставалось, это пойти покормить птиц. Она остановила машину и вышла. Лорд Байрон тут же направился к ней. Рефлекс Павлова, ничего больше. Она взяла его на руки и стала кидать ему в клюз хлебные крошки, по одной. Рано или поздно, все равно придется признать очевидное, моя дорогая. Выражаясь словами Виктора Гюго, «мой отец, этот герой с доброй улыбкой» оставил одну улыбку. За ней уже нет человека.

– Откуда, интересно, в Швейцарии берутся чайки?

Она не ожидала встретить его здесь. Была какая-то смутная надежда, скорее даже – любопытство. Придет, не придет? Он подошел и сел на корточки рядом с ней. Эта его белая челка на глазах. . .

– Я хочу сказать, так далеко от моря? И опять же горы! Они не могут летать так высоко. Во всяком случае, не чайки.

<sup>1</sup>Алкогольная зависимость (англ.).

– Сюда, в Швейцарию, всякие странные птицы прилетают.

– Спасибо. Кстати, меня зовут Ленни. Нет, серьезно, я даже видел альбатросов. Альбатросу-то здесь вообще нечего делать.

Даже не осмеливается со мной заговорить. В горле пересохло. Лучше бы она все-таки что-нибудь сказала, черт побери, сейчас ее очередь, я уже выложился.

– Кажется, чайки даже спят на воде. Вот настоящая жизнь. Отдаешься на волю волн и на землю – ни ногой. . .

Что ж, если я не выдерживаю конкуренции даже с какими-то утками, незачем и настаивать. Может, вообще не стоило с ней заговаривать. Помолчали бы вместе. Молчание на двоих. Сразу сближает. К тому же ему жуть как хотелось помолчать вместе с ней. Ему было так хорошо просто быть рядом, смотреть на нее. Красивая девчонка. Жаль, что это я. Она заслуживает лучшего. Не везет. Потом, может быть, я свожу ее покататься на лыжах, так хоть будет чем разбавить, не всухую проиграет со мной. Бывали моменты, когда ему хотелось повеситься.

– Вы что, никогда со своими лыжами не расстаетесь?

– Никогда. Это не шутки.

Она улыбнулась:

– Все-таки в вашем возрасте это странно.

– Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, что в вашем возрасте это странно – повсюду таскать за собой мишку.

– Мишку? Не знаю такого. Что это еще за тип? Но вот насчет лыж я вам кое-что объясню. Когда у вас с собой лыжи, легавые вас не трогают. Далее если вы спите на скамейке или под мостом. Они видят лыжи и понимают, что вас ни в чем нельзя обвинить. Почему? Не могу сказать. Но это так. Это защищает.

– Вы ищете работу?

– Нет. Я так просто не сдаюсь.

– Странный все-таки образ жизни.

– А я говорю себе то же самое, когда вижу, как какой-нибудь парень идет утром на работу и вечером – с работы. Каждый развлекается как умеет.

– И вы не хотите вернуться домой?

– Домой? Куда это?

– Ну, домой, я не знаю. Должен же у вас кто-нибудь быть в Штатах.

– Вы что, газет не читаете? Их там двести миллионов, в этих Штатах. Вот вам и «домой». Лучше повеситься. Здесь, в Европе, у них по крайней мере нет «проблем».

– Как это, нет проблем?

– Вьетнам далеко, негров тоже нет.

– У них полно других проблем.

– Не спорю, но так как они не говорят по-английски, терпеть можно. Я знаю три слова по-французски, так что у них еще есть шанс.

Она рассмеялась. У него перехватило дыхание. Когда она смеялась, тебя будто поднимало вверх, сразу на две тысячи метров над уровнем дерьма.

– Значит, вы нашли себе занятие?

– Зимой – да. А летом все начинает разваливаться.

– И тогда вы спускаетесь?

– Нужно что-то есть. Этим они вас и держат. Знаете, в коммунистических странах, кажется, везде висят таблички с надписью: «Кто не работает, тот не ест». Это, вероятно, американское влияние.

– Значит, вы все-таки ищете работу, нет?

– Несколько дней я могу продержаться с ножом у горла, но это отвратительно, заставляя человека. . .

Он вспомнил об Ангеле: верно, грызет ногти, наблюдая за ними сверху. Он побаивался этого типа: вечно в черном, как если бы он носил траур по своей мамочке, которую только что прирезал.

– Смейтесь, смейтесь. Работать ради куска хлеба – это такая мерзость. Хуже не придумаешь. Вот так они в конце концов и построили свой мир, эти сволочи.

Она изумленно смотрела на него. Он и не думал шутить, У него даже немного дрожал голос.

– Посмотрите вокруг. Я уже посмотрел. Все это дала работа. Я хочу сказать, люди, которые работают, чтобы есть и так далее, им ведь наплевать. Они сыты, им больше ничего не надо. Они будут выполнять что угодно, лишь бы и дальше можно было есть вдоволь, а результат – у вас перед глазами. Вот что она делает, работа.

– Ну надо же, настоящий бунтарь.

– Вовсе нет. Чего в самом деле не хочу, так это менять мир. Вы не можете сделать другой мир из этого же мира. Вот я и нашел себе занятие, как вы говорите.

– Лыжи? Однако. . .

– Отчуждение. Это единственное их изобретение, которое еще выдерживает критику. Кажется, это даже прописано в Декларации Прав Независимости, отчуждение, но до сих пор им пользовались только негры. Я, например, даже не знал, что такое существует. Я имею в виду это слово. У меня со словарным запасом вообще. . . Словарь – это враг народа номер один: слишком много всевозможных комбинаций, как в шахматах. Они называют это идеологией.

– Идеологией.

– Спасибо. Один приятель, оттуда, сверху, Буг Моран его зовут, так вот, это он мне объяснил, что то, что я делаю, называется отчуждением. Золотая медаль Зимних олимпийских игр по отчуждению – моя, так думает Буг. Хорошо бы как-нибудь вам с ним познакомиться. Он голубой насквозь, что твой ночной горшок, но со всех других точек зрения он – парень что надо. А так как он извращенец, хочешь не хочешь, надо быть сообразительным – вопрос идеологии. Он здорово во всем этом сечет, говорит, что здесь даже больше всяких позиций, чем в этой книжке, как ее там. . . Не Библия, другая.

– «Камасутра».

– Да, что-то в этом роде.

Они внимательно смотрели на Лорда Байрона, оба, но никогда еще селезню не перепало так мало внимания.

– Вы обращались в Консульство?

– Нет. Мне что-то неловко.

– Почему? Это ведь их работа, помогать американским гражданам, попавшим в затруднительное положение.

– Я не считаю себя гражданином. У меня еще осталось немного самолюбия. Помните, я вам уже говорил, что никогда не забуду этого лозунга, который Кеннеди распахал везде, где только можно: «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спросите, что вы можете сделать для своей страны. . .» Я до сих пор еще боюсь обернуться.

– Да не съедят же они вас.

– Съедят. У них там, в Консульстве, кое-что на меня есть.

– Что именно?

– Бумаги. Армия и все такое. Они хотят отобрать мой паспорт. Они всегда стараются что-нибудь забрать у вас или забрать вас самого. Как-то спускаюсь я по склону Кирхен, ничего плохого не ожидаю, и вдруг – на тебе, какой-то тип с секундомером в руках останавливает меня: «Я вас знаю?» Я ему клянусь, что нет, что это не я. «Что ж, следует познакомиться. Вы проехали этот спуск быстрее, чем сам Кид». – «Я не специально, – убеждаю его я, – передайте мои извинения господину Киду». Мне не понравилось, как он на меня смотрел. Мечтательно так. Ну, вы понимаете. «Вы американец?» – «В общем, да». – «Зайдите ко мне. Ваше место в нашей олимпийской сборной. Вот моя визитка». Это был Майк Джонс, ну, вы знаете, тренер. Я ему сказал: «Послушайте, я против сборных. Я не представляю себя в команде. Нечего мне там делать. При одной мысли об этом мне уже делается дурно». Говорю вам, они всегда стараются прибрать вас к рукам. Они не соблюдают даже швейцарский нейтралитет, пытаются вас завербовать. Есть такая страна, называется Внешняя Монголия. «Внешняя», вот что мне больше всего нравится. Кажется, это что-то интересное.

Нет, ему правда нравилось, как она смеется.

– Ну, и что же вы собираетесь делать?

– Наверное, пойду, сдамся. Год назад меня уже задерживала полиция в Гстаде, и семья полицейского две недели держала меня у себя: кормили, ухаживали. Им ведь в Европе не часто выпадает кормить американца. Это им льстит. А потом, у меня и внешность подходящая. Этакий несчастный ковбой. Вы не поверите, как-то в Дорфе ребяташки прибежали просить у меня автограф. Я спросил, знают ли они, кто я такой. Они сказали, что нет, но что они меня уже видели в кино. Они, в Европе, обожают американцев. А вы, что вы делаете в Женеве?

– Учусь.

– Учитесь на кого?

– Просто учусь.

Она не хотела его пугать. И вообще, пошел он к черту. Что, мне здесь целый день торчать с этой дурацкой уткой на руках?

– Курс литературы. Немного социологии.

– Социологии?

– Успокойтесь. Я не сочиняла эти объявления для Кеннеди.

Ну вот. Теперь он смотрел на нее с подозрительностью:

– И психология тоже?

– Нет.

Он облегченно вздохнул:

– Уф! А то я уже испугался.

– А что вы имеете против психологии?

– Ничего. Я никогда никого не выдавал. Это не по мне. Но когда я вижу, что навстречу идет психология, я перехожу на другую сторону, вот и все.

Она отпустила селезня на воду:

– Мне пора. Удачи.

Безнадежно. Предложить ему кофе, сэндвич? О, черт, и что дальше? Ему негде было жить. Ну что он стоит столбом, сделал бы хоть малейшее усилие, шаг навстречу, я не знаю. . .

– Вы ведь собираетесь возвращаться, так? Почему бы вам не остановиться у нас на несколько дней, пока все не уладится. Отец будет рад.

Он медлил. Он прямо видел, как эта сволочь Ангел умоляюще складывает ладони, готовый броситься на колени, просить Аллаха, чтобы Ленни сказал «да».

– А что за отец? Они обычно выводят меня из себя.

– Этот не из тех.

Он совершенно не понимал, отчего он так нервничает. Он ведь даже не обязан был с ней спать. Все могло бы и так прекрасно устроиться. И потом, она быстро оправится. Через пару дней и думать забудет. Сегодня люди за три дня вокруг света объезжают: Индия, Африка, так что. . .

– Хорошо. Можете не беспокоиться. Я не из тех, кого потом не выгонишь, нигде надолго не задерживаюсь. Стоит только где-нибудь задержаться хоть на день, и уже хлопот не оберешься.

– Что? Каких хлопот?

– Ну, не знаю. Оказываешься загнанным в угол. Знал я одного парня, который зашел как-то в канцтовары, за карандашом, и попался; так там теперь и сидит. Отец семейства. Мы встретились с ним недели две назад, и он плакал. Все эти семейные трагедии, они разбивают сердце. Чему вы смеетесь?

– Вы ничем не рискуете, можете не волноваться. В любом случае, возможно, нас самих в скором времени выставят за дверь. Нам надо до среды внести плату за жилье, а у нас – ни гроша.

– Что, правда, что ли? Как же так? Я думал, вы – важные птицы.

– Как-нибудь потом объясню.

Что она хотела сказать этим «как-нибудь потом»? Она строит планы на будущее или что?

– Вы идете?

Но нужно было еще захватить чемодан.

– Вы можете подождать меня минут десять? Я оставил свой чемодан в кафе, здесь неподалеку, у причала. . . Да, если я вернусь, а вы уехали, это ничего, все о'кей. Я понимаю.

– Я жду вас в «триумфе».

Она никогда еще не встречала такого недоверчивого человека: он не осмелился даже оставить свои лыжи в машине. А может, он и не собирался возвращаться. Она его напугала. Он, наверное, почувствовал, что она совсем растеряна, что она тонет, схватил свои лыжи и бросился наутек. Она подождет четверть часа, минут двадцать, не больше. Ей было совершенно все равно, вернется он или нет. Она дает ему полчаса и ни секунды больше.

Яхта в самом деле была красивая, вся черная, большая, к тому же непонятно, что она вообще забыла на этом озере. Ее как будто пригнали в плен. Оказаться бы на такой, да посреди океана, вот был бы номер! Тогда ничего больше и не нужно, и чтобы никого на борту, ни тебе мотора, ни паруса, чтобы вообще незаметно было, что это лодка. Вот где по-настоящему можно почувствовать себя дома.

Он прошел по трапу и спустился в кабину. Дверь была открыта. Ангел, одетый, лежал на койке, даже шляпа на голове. В ногах у него сидела негритянка. Араб, негритянка, американинец. Полный компот, эта Женева. Девушка держала на коленях мертвую чайку.

– Она разбилась у нас на причале, – сказала она.

– В следующий раз стучи, прежде чем войти, – сказал Ангел.

– Порядок, – сказал Ленни. – Я остаюсь у них на ночь. Можешь сообщить главному. Кстати, кто он?

– Кто главный, Ленни? Станный вопрос. Нет никакого главного. Только ты да я, вот и всё.

– Она упала прямо мне под ноги.

– Я знаю, что ты ее не убивала, – сказал Ленни. – Не волнуйся.

– В следующий раз стучи, прежде чем войти, – повторил Ангел. – Я сюда прихожу не только любовью заниматься. Может оказаться что-нибудь и поважнее.

Негритянка расплакалась.

– Ну же, ну! Это ведь просто чайка, – ободрил ее Ленни.

– Не просто, – не унималась она. – Это было всё. Всё.

– Ну, тогда еще проще, – сказал Ленни. – Если это – всё, то значит всё. И тебе наплевать.

– Даже не знаю, зачем я приехала в Европу, – сказала негритянка. – Странно. Там, в Чикаго, я думала, что все из-за того, что я черная. Но теперь даже не знаю, почему все так. В Штатах было лучше. По крайней мере, знаешь причину: цвет твоей кожи. У вас есть проблема, и вы знаете, что это за проблема. Но здесь... здесь гораздо хуже. Вы даже не можете себе сказать: «Что ж, это потому, что я – черная». Здесь – не то. Здесь что-то более... ну, я не знаю, более общее, что ли. Это не зависит от цвета твоей кожи. И вот, вы уже ничего не понимаете. Нет никакой причины, вы совершенно не знаете, за что. Как будто разом отняли все иллюзии.

– Ты лучше раздевайся, когда это делаешь, – посоветовал Ленни. – Будешь чувствовать себя не так мерзко. Значительнее, что ли. Анжи, в следующий раз, когда вызываешь девушку, дай ей хоть раздеться. Так для них лучше.

– Тебе-то что?

Негритянка, всхлипывая, раскачивалась из стороны в сторону, вцепившись в свою чайку.

– Она вскрикнула, забила крыльями, и – всё.

– Знаете, кажется, они провели новый закон в Конгрессе, – сказал Ленни. – Теперь черные у нас будут иметь такие же права, как и белые. Как и здесь. Как и везде.

– Может, мне лучше вернуться в Чикаго? – не унималась негритянка. – Там я хотя бы знаю, о чем речь. Я знаю, что это из-за цвета моей кожи.

– Он под кроватью, – сказал Ангел.

Ленни достал чемодан.

– Здесь цвет вашей кожи ничего не значит. Вот и не понимаешь. Не знаешь, что и думать. Понимаете, что я хочу сказать?

Она стала смеяться. Пронзительный смех, с застывшим взглядом.

«Героин», – подумал Ленни.

– И еще эта чайка, – сказала она. – Разбилась прямо у моих ног, вот так, ка-ак шлепнется! Бум! Бум!

– Ну, пока, – сказал Ленни.

– Завтра увидимся, – сказал Ангел. – Смотри, без глупостей. Или окажешься сам знаешь где.

– Да? И где же?

– На Мадагаскаре.

– Бум! Вот так, – всхлипывала девушка. – Бум!

– Ну, давайте, бум тра-ля-ля! – сказал Ленни.

Он поднялся по трапу. Постоял подышал немного с закрытыми глазами. Ну и дурочка все-таки. Разве можно так убиваться. Однако она была права. Цвет кожи тут был ни при чем. Здесь что-то другое. Да, но что? Наверное, просто кожа, и все. Когда не по себе в собственной шкуре.

## Глава VI

Как только они сели в машину, она сразу включила радио, в любом случае им не о чем было говорить. Он глядел хмуро, обескураженно, как ковбой, на которого накинули лассо. Зачем она его пригласила! Это было так унижительно, чудовищно. Он не раскрывал рта, смотрел прямо перед собой. Ей так и хотелось сказать ему: «Послушайте, старина, Джеймс Дин<sup>1</sup> – это устарело, придумайте-ка что-нибудь другое». Пару раз она перехватила его взгляд в зеркале заднего вида: он вынужден был ей улыбнуться, но тут же заперся в себе на два оборота. Глаза у него были совсем зеленые, возможно, они достались ему от матери, хотя по его виду не скажешь, чтобы ему была большая разница, кто там его мать. Как они быстро уходят, наши матери, они скоро все исчезнут во мраке времени. Верно, никакие серьезные мысли не отягощали эту красивую голову. Он, казалось, слегка удивился, когда полиция по обе стороны швейцарско-французской границы пропустила их, не требуя документов.

– Они всегда вас свободно пропускают?

– Международное право. Дипломатическая неприкосновенность.

– И даже в багажник не заглядывают?

– Не имеют права.

– Вот это да!

Он повторил: «Бот это да!»

Она сделала круг через поля. Так, низачем. Стояла хорошая погода. Было такое впечатление, что он – педик. И чем дальше, тем больше. Но нет, это была просто-напросто мужественность. Мужская застенчивость, если хотите. У некоторых это доходит до того, что они сидят зажав колени и ждут, пока девушка сделает первый шаг. Он, должно быть, наслушался про матриархат. Да чего же он ждет, Господи Боже, чтобы я сама стала шуровать в его курятнике?

– Вам нравится джаз?

– Слушайте, вам совсем не обязательно со мной говорить. Все в порядке. Я знаю, что это заметно.

– Что вы еще выдумали?

– Я бросил школу в тринадцать лет. Так, о чем вы хотите, чтобы мы с вами говорили. Нам нечего сказать друг другу. И это очень удобно. Я люблю комфорт.

– Вы пытаетесь во что бы то ни стало сойти за дебила?

– Я просто пытаюсь, вот и все. Чем ты тупее, тем легче тебе пройти мимо. Я не утверждаю, что я полный идиот. У меня есть склонность, вот и все. Я защищаюсь. Но с такой девушкой, как вы, я не знаю, за что взяться.

– Я нахожу, что вы очень умны.

Чем они красивее, тем чаще им надо говорить, что они умные. Вы повторяете им это несколько раз, и они падают в ваши объятия. Она рассмеялась.

– Что смешного?

– Вам уже говорили, что вы – настоящий донжуан?

Все это начинало его доставать. Эта мамзель совсем его замотала: они в третий раз проезжали через одно и то же место, он уже узнавал тот амбар, вон там. Груша с аттестатом

---

<sup>1</sup> Джеймс Дин (1931-1955) – американский актер, его герой – человек, находящийся в драматическом конфликте с окружающим его миром, ощущающий бесплодность личных устремлений, – оказался чрезвычайно близок умонастроениям молодежи 50-х гг.

зрелости, только и ждет, чтобы ее сорвали. И ко всему прочему вам хочется ее защитить. Только этого ему не хватало: взять кого-нибудь под свою защиту. Он готов был все бросить, сбегать Ангелу его чертов чемодан и попытаться выкрутиться как-то иначе. Он уже чувствовал сигнал тревоги, который был ему прекрасно известен: такое впечатление, что у тебя все руки в клею.

– Остановите, я выйду.

– Почему? Что я сделала?

– Я не люблю психологию, вот почему.

Она не остановилась. Он не стал настаивать. Он больше ничего не мог поделать. Это было похоже на то, что есть у них в Греции, «судьба» называется. Они свернули с дороги и ехали сейчас среди яблоневых и вишневых деревьев. Деревья были розовыми и белыми. И вкусно пахли. Дом тоже был ничего, старинной постройки.

На столе лежала записка от отца: он сообщал, что к ужину не вернется. На кухне ждал озерный голец, и она поставила его подогреть. Она наскоро подкрасилась в ванной и вернулась в гостиную.

– Кто это?

Он разглядывал портрет, висевший на стене.

– Никола Ставров. Болгарин. Его повесили. Друг моего отца.

– За что они его повесили?

– За прогресс.

– Странный мир. Хорошо, что я к нему не принадлежу.

– У вас нет семьи?

– Не знаю, не задумывался. Так почему его повесили, вашего друга? Я что-то не очень понял.

– Он был демократ.

– Его республиканцы повесили?

Она рассмеялась. Кто бы сказал, что когда-нибудь она будет смеяться из-за смерти Ставрова!

– Да нет, коммунисты.

– А. Впрочем, все одно – политика. Знаете что?

– Что, Ленни?

– Когда-нибудь я тоже займусь политикой. Вместе с друзьями. Возьмем не Вьетнам или Корею – это слишком жирно, а, скажем, банк, для начала.

Она как-то растерялась. Голос у него был спокойный, не злобный. В зеленых глазах – ни следа возмущения, только взгляд немного пристальнее, вот и все. И тем не менее трудно было не почувствовать за этим красивым непроницаемым лицом что-то похожее на дикую, неприимую враждебность, полный отказ от повинения, который превращался в настоящий смысл жизни, в благородную страсть. Она внимательно посмотрела на него. Он, казалось, приобрел иную значимость, будто в самом деле вышел из *другого мира*. Эти его светлые локоны падшего ангела, которому за неимением крыльев достались лыжи. Какое-то достоинство отказа, может быть, чисто инстинктивное, слепое, неосознанное, как инстинкт самосохранения чести, сброшенной в сточную канаву. Но нет, она размечталась, думая о ком-то другом. Это невозможно. Он был красив, но и только. Так просто было наделить это юное мужественное лицо всяческими другими достоинствами. Внутренний мир людей редко совпадает с их внешним обликом. Вспомнить хотя бы ее отца. Нет, лучше было его не вспоминать. Не сейчас. Она нервно перебирала крошки на столе, потом резко поднялась:

– Я сделаю вам кофе?

– Нет, спасибо. Я вас ничем не обидел?

– Нет. Как?

– Ну, я не знаю. Вы как-то странно стали на меня смотреть. Я хочу сказать, этот человек, на портрете, он ведь ваш друг. Он, конечно, очень хороший человек, раз его повесили. Я не хотел вас обидеть.

Она почувствовала, как внезапная волна теплой нежности подступила к ее сердцу, и отвернулась, словно испугавшись, что это станет заметно.

– Вы меня не обидели, Ленни. Кофе?

– Нет, спасибо. Честно говоря, у меня сейчас только одно желание. . .

Она чуть не уронила чашку.

– Какое же?

– Настоящая горячая ванна. С паром. Знаете, после которой будто заново родился.

– Идемте, я покажу вам вашу комнату.

Она взяла его чемодан. Пустой. «Спорим, у него там одна рубашка. Я расстелю ему постель. О, он не осмелится. Что я распереживалась. Мне, можно сказать, повезло. Ненавижу подниматься по лестнице впереди парня. Нет, нужно сбросить три килограмма, о-бя-за-тельно! Они вечно откладываются на бедрах. Он, наверное, слышит, как бьется мое сердце: это же барабан! Просто невозможное дело с этими сердцами. Глупые донельзя. Воображают себе Бог знает что. Паникеры несчастные. Сейчас глотнем свежего воздуха, успокоимся. Он поймет, что он ошибается. Я скажу “нет”, вежливо, но строго, чтобы его не задеть. Ненавижу эту сексуальность, одни дурацкие мысли в голове, и больше ничего. К тому же я его сковываю. Интеллектуалка несчастная. Он, наверное, бежит этого, как огня. Что он себе вообразил? Что я в постели о литературе говорю? Так он ошибается. Боже мой, скажите же ему, что он ошибается. В постели надо жить и дать жить другому, вот. Нет, я озабоченная дура. Пытаетесь помочь парню и превращаетесь в какую-то нимфоманку. Да он даже и не думает об этом. Слишком скромный. Думает, я отправлю его подальше. Господи, уже не знаю, куда себя девать».

Она открыла дверь.

– Ванная – в конце комнаты. Спокойной ночи. Завтрак в шесть.

Она побежала к лестнице.

– Пойдите. . .

Она остановилась. Чуть жива. Схватившись за перила. Глаза закрыты. «Только бы отец сейчас не вернулся. Я никогда больше не смогу. фригидная на всю оставшуюся жизнь».

– Вы не сердитесь?

– Спокойной ночи.

Она не двигалась с места. «Идиотка, дура набитая, трусиха несчастная. . . Чертов пуританский протестантизм. . . Да нет, мы же все в нашей семье католики. Я уже ничего не знаю».

Он стоял на пороге распахнутой двери, снимал рубашку.

«Девственница, точно, к бабке не ходи. Я бы постарался, если бы ты решилась, но ты сейчас не в форме. Зажатая. Только больно будет, и все. Нет, вы посмотрите. Застыла вся. Дрянь бы вышла, а не дело, свинство одно. Иди, ложись-ка ты спать, как послушная девочка. Поплачь немножко, это успокаивает. Потом разберемся, с чувством, с толком. Не горит. Господи Иисусе, она уже плачет. Ну, и что теперь? Идти, нет? Черт, не знаю, что делать. Ладно, попробую. Тяжело, неуклюже, как настоящий тюфяк, ты отправишь меня прогуляться, и тебе станет легче. Я помогу тебе послать меня подальше. Вот. Руку на грудь, другую – в промежность, запросто, сейчас все решим. Да, оттолкни мою руку. Ну что, теперь тебе лучше? Расслабилась?»

Она оттолкнула его:

- Нет, Ленни. Прошу вас.
- Почему нет?

Она взглянула на него. Он уверенно улыбался. Конечно, они все говорят ему «да».

- Почему нет, Джесс? В доме мы одни.
- Это не повод.
- Ну же, будьте так любезны. . .
- При чем здесь любезность, Ленни?
- Почему нет?
- А потом?

– Что потом? Нет никаких «потом». Потом я уйду. Как воспитанный. Вежливо прощаемся.

Никто ни о чем не жалеет. У этого нет продолжения, иначе незачем портить себе кровь.

- Сожалею. Не по адресу, Ленни. Не ко мне.
- Боже мой! Что же вы плачете?
- Что? Почему? Не знаю. Уходите.
- Ладно. Я возьму чемодан.
- Да нет же. Оставайтесь. Я хочу сказать, закройте дверь и идите спать.
- О'кей. Я мог бы жениться на вас прямо сейчас, но не стану подкладывать вам такую свинью.

Она уже снова улыбалась. Дышала ровно. Успокоилась. Теперь она была готова. Совершенно расслабилась. В этом весь секрет. Раскрепощение. Любой горнолыжник вам это подтвердит.

- Спокойной ночи, Джесс.
- Спокойной ночи, Ленни.
- Спокойной ночи.
- Да. Спокойной ночи, Ленни. До завтра.
- Да, Джесс, до завтра. Хороших снов.
- И вам тоже, Ленни. Не хотите воды со льдом? Черт возьми, она свалит когда-нибудь или нет? Он уже устал улыбаться.

- Нет, спасибо, не надо. Пойду ложиться.
- Да, Ленни. Если вам что-нибудь понадобится. . .
- Да, да, спасибо. Ну, спокойной ночи.

Она не уходила. Хорошо, поможем ей еще раз. Он рассмеялся. Она тотчас напряглась.

- Что смешного? Вы надо мной смеетесь?
- Да нет же, я о вас вовсе не думал.
- Спасибо.

– Я подумал, что никогда ничему не научусь. Я не создан для этого. Напрасны любые уроки, не в коня корм.

- Что вы хотите этим сказать, Ленни?
- Вы знаете, что значит джентльмен?
- Конечно.

– У меня есть друг, Буг Моран, – вам стоило бы с ним познакомиться как-нибудь – так вот, он говорит, что джентльмен – это такой человек, который не сворачивает с дороги, чтобы всадить нож в спину парню, которого он даже не знает. Буг говорит, что он, естественно, ошибается. Что всегда следует беспокоиться о других. Ну, спокойной ночи.

Он отступил в комнату и закрыл дверь. Он подошел к окну и стал раздеваться, глядя на небо. Пустое. Ничего и еще немножко. Сколько их там, наверху! Брр. Зря монетки тратите. Им плевать на тебя, малыш Ленни, они все там джентльмены. Они не интересуются вами. Вот

бы сейчас в снега. На Шайдег. Поближе к ничему. А чтобы подобраться еще ближе, пришлось бы загнуться. Нужно было бы лишь замерзнуть, как Куки Уоллес. Но Куки не любил лыжи по-настоящему, он, бедный, и понятия не имел, что может подарить жизнь.

Он не должен был допускать ее до чемодана. Она, конечно, заметила, что в нем пусто. И что дальше?

Над кроватью висели часы с кукушкой. Он взял свой башмак и стал ждать. Его достали эти ходики. Вечно он на них попадал. Но ждать оставалось еще минут двадцать. Он отложил охоту до завтра и скользнул под одеяло. Он с наслаждением потянулся. Home, sweet home<sup>1</sup>. И выключил свет.

---

<sup>1</sup>«Дом, милый дом» (англ.).

## Глава VII

Шел дождь. Выбивал мелодию на крышах. Нет на свете мелодии приятнее, если вы слушаете ее вдвоем, в ночи, и чувствуете себя вполне уверенно в его руках; чем сильнее дует ветер и хлещет дождь снаружи, тем надежнее и крепче кажутся его объятия. По крайней мере, мне так представляется. Всю жизнь я в одиночестве слушала, как дождь стучит по крыше. Дождю это не нравится, он нервно выстукивает свое неудовольствие. А этот небось дрыхнет себе в обнимку со своими лыжами. Он, наверное, думает, что я фригидная. Вольф пишет, что семьдесят пять процентов женщин отчасти фригидны: интересно, что он подразумевает под этим «отчасти», непонятно. Все эти истории с диафрагмой надоели мне, дальше некуда. У меня уже три года стоит одна, на полочке в ванной, и что? И ничего. Как, интересно, поставить диафрагму, если вы еще, в общем, невинны: ненавижу это слово, отдает какой-то испанской инквизицией. Все, чего я хочу, это лежать в его объятиях, в темноте, и слушать дождь. Мы растрачиваем зря этот прекрасный дождь, оба.

Она включила радио. Еще одно селение разнесли во Вьетнаме, радиоактивность в штатах Юта и Невада выросла вдвое, в Конго творилось полнейшее безобразие. Но это не помогало. Впервые ужасы мира, настоящего мира других людей, ничем не могли ей помочь. Страшно чувствовать, как у тебя внизу живота все изменилось и стало таким чувствительным, что ты даже не можешь свести колени. Жжет. Прямо – кошка на раскаленной крыше. Вот до чего ты докатилась, Джесс Донахью, к двадцати одному году. Наступила краткая пауза, и когда она уже протянула руку, чтобы выключить радио, диктор загробным голосом объявил о кончине папы Иоанна XXIII.

Эта новость была для нее столь неожиданной, что на какое-то мгновение она застыла, ничего не понимая, никак не реагируя, будто сила удара убила в ней всякую чувствительность. Потом она выплыла на поверхность действительности, и необъятность этой личной утраты, которую каждый живой человек должен воспринимать именно как личную, одним махом смела все ее внутренние переживания, всю нелепость ее жалкого «я». Она выпрыгнула из постели. Она должна была сообщить ему, он должен был это знать: мир только что лишился своего единственного света. Она взлетела вверх по лестнице, без стука распахнула дверь, влетела к нему в комнату, зажгла свет и остановилась с умоляющим взглядом, вся в слезах.

Он от неожиданности подскочил, протер глаза, сел на кровати – голый торс, рот открыт, взгляд удивленно устремлен на нее.

– Ленни. . . Папа. . . – «Папа, – медленно начал соображать он. – Так, я схожу с ума». – Папа, Иоанн Двадцать Третий. . .

Она рыдала.

Если он чего и боялся на свете, так это сумасшедших. Сумасшедшие набиты психологией. Из углей прет. Он постарался взять себя в руки. Так, у нас гости. Папа. Надо надеть портки.

– Папа Иоанн умер.

Титаническим усилием воли он все-таки сжал губы, не дав им распознаться в этой чертовой улыбке. Папа Римский умер, а? В жизни не слышал еще такого изысканного предлога! Это, можно сказать, торжественнейший момент, потому что я точно уже никогда не услышу такого оправдания, никогда! Потрясающе: скажу Бугу – не поверит.

Она присела на край кровати и так умоляюще смотрела на него, она была такая растерянная, ее плечи вздрагивали в таких надрывных всхлипываниях, и рука, когда он взял ее в свои

ладони, была такая ледяная, что ему вовсе расхотелось смеяться; напротив, это было что-то совершенно противоположное, хотя он и не мог толком сказать, что это было, там, напротив, на другом краю. «Жаль все-таки, что это я, – подумал он. – Правда, не повезло девчонке».

Что сказать, Папа Римский ему скорее нравился. Ему нравились многие люди, с которыми он никогда не встречался. Это – лучшие.

– Он был такой участливый, такой добрый человек. . .

Ленни обнял ее, погладил по щеке. Она не отстранилась. Он спустился ниже талии. Она, казалось, даже не заметила.

– Думаю, что это был самый великий папа нашего времени.

– Это точно.

– Единственный, о котором в самом деле можно сказать «святой».

«А что, если нам сменить пластинку? – подумал он. – А то мне уже как-то не по себе. Надо ведь и честь знать».

– Вы – католик, Ленни?

«О, Господи, – подумал он, убирая руку. – Она, пожалуй, до этого еще и документы у меня потребует, Католик ли я? Верно, я должен быть кем-то в этом роде. Только откуда мне знать, куда меня носили, когда мне был всего месяц? Я не знаю, кто я. Я есть – и все, и то это уже слишком сложно. Я есть. Нечто вроде happening<sup>1</sup>. Но мне всегда все это казалось отвратительным, так что, может быть, и хорошо, что я – католик. Потому что “я есть” – это самое паршивое. Идиотское “событие”. Иногда спирали теряются».

– Нет, Ленни, нет. . . Не надо. . .

– Я ничего вам не сделаю, Джесс, клянусь. . .

Так всегда говорят в подобных случаях. Правила хорошего тона.

– Прошу вас, Ленни. . .

Да, да, конечно. . .

– Нет!

Конечно, нет. Да где же это, Господи? А, вот.

– О!..

Вошли.

Потом, после, он растянулся на спине, она прильнула к нему щекой, и он почувствовал такое спокойствие, нет, не счастье, не мечтайте, – спокойствие. Он гладил ей волосы, чтобы не терять с ней связь. «В жизни еще не был так влюблен. Это, пожалуй, могло бы продлиться целую неделю. Жаль, что между нами этот чемодан затесался. И еще жаль, что умер старик. Папа. Честно говоря, все эти папы мне по барабану, но этот, правда, был стоящий, в деле демографии. Должно быть, я католик, точно не знаю, надо проверить».

Она теперь не шевелилась, в глазах было какое-то отсутствующее выражение, как при приближении сна. Природа. Во всем есть свои «за» и «против». Ее глаза были где-то совсем далеко. В первый раз, если он удачный, это их полностью опустошает. Некоторым нужны целые недели, чтобы сорваться, другим же и вовсе не удается, и они становятся нимфоманками. Сам-то Ленни никогда не встречал нимфоманок, но, кажется, они и правда существуют. А должно быть, это красивая смерть. Он знал одного парня в Давосе, которому пришлось выпрыгнуть из окна третьего этажа: тот был несказанно счастлив, что отделался сломанной ногой.

Посреди ночи он проснулся, весь в поту: ему снилось, что ему на шею надели веревку, но это всего-навсего были ее руки.

<sup>1</sup>Событие (англ.).

- Ленни. . .
- Что?
- Сколько ты еще здесь пробудешь?
- Не беспокойся. Я нигде не задерживаюсь. Можешь не волноваться. Спи спокойно.
- Но я не хочу, чтобы ты уходил.
- Спасибо, конечно. Но мне на одном месте нельзя.

Она взяла его руку. Он никак не мог уснуть, что-то его изводило, он все не мог понять, что именно. Потом он вдруг сообразил, что это ее рука в его ладони. Он сжимал ее слишком сильно. «Внешняя Монголия», – подумал он. Но он сжал ей руку еще сильнее и все слушал, как стучит дождь по крыше, и все было так спокойно, без конца, без начала, где-то далеко, он не знал где, но не здесь, и как будто сам собой появился ответ, очень простой ответ на очень сложный вопрос.

Проснувшись, она сразу стала искать его руку и не нашла. Он ушел. Будильник звенел бесконечно долго, подводя своим холодным металлическим голосом безжалостный счет реальности. Она кинулась в ванную, заглянула в гостиную: никого. До сих пор она даже не замечала, как пусто в этом доме. Она вернулась в комнату и наскоро застелила постель: она не могла выносить неприкрытый, измятый цинизм подушек и простыней, это неправда, они лгут, это всего лишь жалкая, презренная видимость, которая ничего не доказывала: только поверь своим глазам – они всё сведут к испачканному белью.

Она всплакнула немножко, но это только из-за простыней. На рассвете они выглядели особенно гадко. На журнальном столике лежала записка от отца: «Дорогая, я лег спать, приходи завтра пообедать со мной в “Красную шапочку”, у меня для тебя новость. Хорошая, для разнообразия. . . Что это за лыжи у входа?» Она сунула записку в сумку и вскочила в «триумф». Сад в своей девственной белизне, казалось, смеялся над ней: «Ха-ха-ха!» Как в мультфильме, деревья в цвету стыдливо опускали макушки и сыпали лепестки как слезы. Она проехала по дороге метров сто и заметила его: он торчал на перекрестке, сидя на чемодане, с лыжами на плече. Она решила не останавливаться, проехать мимо, даже не взглянув на него, с высоко поднятой головой: пусть знает! Но, поравнявшись с ним, дала по тормозам и остановилась.

Он не двинулся с места. Как там это называется-то, где все в конце умирают с выколотыми глазами, после того как пытались переспать с собственной матерью? В Греции это на каждом шагу. «Судьба», что ли? С утра пораньше он по-тихому смотал, как настоящий джентльмен, он не хотел использовать ее, после того что между ними было. Так нет. Сначала Ангел приперся, а теперь вот еще и она со своей тачкой «КК» и неприкосновенностью. Жаль. Счастье, его надо есть на месте, на вынос не дают. А когда хочешь его сохранить любой ценой, оно тут же превращается в дерьмо. Посмотрите хотя бы на Америку. Там полно счастья. Девать некуда, по швам уже трещит. Оттого и лопается.

- Почему ты уехал?
  - Так.
  - Как это – «так»? Что это значит?
- Ну вот, уже объяснения.
- Никогда не нужно настаивать, Джесс, это уже невежливо.
  - Ты думаешь, что взять и уйти вот так, спасибо и до свиданья, – это значит: уметь жить? Точно. Только этого и не хватало.

– Джесс, если бы я умел жить, я бы давным-давно уже был во Вьетнаме или продавал бы где-нибудь машины. Люди, которые умеют жить, это те, кого научили жить. Вот, например, в СССР они умеют жить. И в США – тоже. И в Китае. Сейчас нас везде учат жить. Но только

не меня, уволь. Заявляю тебе со всей откровенностью: Ленни никто не научит жизни. Он лучше сдохнет.

Он был возмущен. Всего сутки, как они познакомились, – и уже психология. Просто стриптиз. Если бы мне захотелось стриптиза, я пошел бы в «Батаклан».

– Тебе даже пойти некуда.

– Вот здесь ты ошибаешься. Мне есть куда пойти. Но мне негде остаться. Это вовсе не одно и то же, Джесс. Пойми.

– Ну, а сейчас куда ты собираешься?

– В Женеву.

– Садись.

Он украдкой взглянул на оливковый «бьюик», стоявший у обочины; за рулем был Ангел. Полное доверие, как же! Ну хорошо. Сначала лыжи. Теперь чемодан. . .

Она смотрела на него.

Он не мог поднять эту бандуру, пришлось толкать по земле до самого багажника.

– Вам помочь?

Он не ответил. Он не должен был допускать ее вчера до чемодана. Теперь ей все было понятно. Всё. Ну и что? Так, по крайней мере, все ясно.

Ему наконец удалось затащить чемодан в багажник.

Она отвела глаза и смотрела сейчас прямо перед собой. Бледная. Как статуя.

Он сел рядом. Она все выложит полиции на пограничном пропускном пункте, он в этом не сомневался. Ну и хорошо. Будем квиты.

– Причина в этом, Ленни?

– В чем?

– Чемодан? Что там внутри? Героин? Оружие? Золото? Да, золото. Золото очень тяжелое.

– И что дальше? Какая разница? Ты понимаешь, что это такое, горнолыжник летом? Попробуй сама. Потом скажешь. Летом я становлюсь конформистом.

– Ты мог бы просто попросить меня. Я бы тебе помогла. Незачем было спать со мной только из-за этого.

– Это здесь совсем ни при чем, Джесс. Честно.

– Честно. Хорошее слово.

Она сбросила скорость. Они подъезжали к границе. С французской стороны. Госконтроль валюты, кажется так. Ей стоило только сказать им. . .

Он скрестил руки на груди и улыбнулся. Он чувствовал себя прекрасно. Ей стоило только выдать его, и они были бы квиты. И так было бы лучше для его принципов. Для его морали. Бывали моменты, когда он начинал киснуть, когда его забирало сомнение, и он терял веру в низость этого мира. Год тюряги – не слишком дорогая плата за свою веру. Есть такие, кто погибает за свои идеи, за то, чтобы в них не разувериться. Ну же, Джесс, давай, скажи им. Так будет лучше для моего отчуждения. Отчуждение должно поддерживаться. Тобой самим и окружающими. Давай.

Но она не собиралась ему помогать. Она не собиралась его выдавать. Эта была правильной девочкой. Он в самом деле круто промахнулся. Он даже не знал, как туда попасть, в эту Внешнюю Монголию.

На границе их встречали, как дорогой подарок: французский пост, швейцарский, приветливые улыбки. Просто противно. У него даже слезы навернулись. Теперь ничему и никому нельзя было доверять.

Она стиснула зубы. «Бьюик» все так же висел на хвосте. Да что он себе вообразил, этот Ангел? Думает, он испарится с шестьюдесятью килограммами золота? Вечно какое-нибудь

дерьмо к заднице прилипнет.

– Вы работаете на этого типа?

– Какого типа?

– Того, в «форде».

– Джесс. . .

– Да? Вы еще что-то хотите мне сказать?

– Джесс, я не знал, что мне попадетесь именно вы. Когда соглашался на эту работу. . . Я не мог этого знать. Я вас не знал.

– Теперь узнали. Так, кажется, в Библии говорится? Где вас высадить?

– Поэтому я и ушел ночью. Я не хотел этого делать. Вы мне не верите?

– Теперь это, правда, не имеет ни малейшего значения.

– Высадите меня на пристани. Там есть одна черная яхта, «Кипрус». Она самая большая, не ошибетесь. Я пробуду там несколько дней. Можете зайти, если захотите.

– Обязательно приду, Ленни. Со своей табличкой «КК» я еще могу вам пригодиться.

– Незачем топтать меня, Джесс. Это утомительно.

Он сказал ей правду, и она ему не поверила. К счастью. Марка не пострадала. Но он против собственной воли продолжал оправдываться:

– Они ждали меня на дороге, с товаром. Я сказал им, что выхожу из игры. Они сказали: либо так, либо – в тазу с цементом. У меня не было выбора.

– Вы так дорожите жизнью, Ленни?

– Нет, даже совсем не дорожу. Но я предпочитаю знать, куда отправляюсь. А смерть – это пока еще темная тропка. Как рак. Не до конца исследовано. Я лучше бы подождал.

Она сдерживалась, чтобы не улыбнуться.

– Я знаю одного парня, Зис зовут, он китайский поэт, из Бронкса. Он сочиняет стишки, знаете, те, что кладут в рисовые пирожки в китайских ресторанах. В Китае это называется fortune cookies. Зис написал про это замечательный стишок, про смерть то есть. Я всегда ношу его с собой. Когда мне хочется повеситься, я просто достаю его и читаю.

Он достал из кармана затасканный бумажник, перерыл свои бумажки – удостоверение личности, пластинки слюды – и вытащил маленький клочок.

– Вот, возьмите. Читайте. Это – моя библия. Еще никто не сказал лучше.

Ей пришлось надеть очки, чтобы разобрать мелкие каракули:

Хайдеггер учил: на свете

Нет фигни глупее смерти.

Понять урок его несложно:

Мрите, только осторожно.

Она рассмеялась и вернула ему листок.

– Замечательно, правда? Этим все сказано. Вы должны как-нибудь познакомиться с Зисом. Стоящий человек. Все китайские рестораны за ним гоняются.

– Вы должны вернуться в Штаты, Ленни. Наш фольклор без вас сильно обеднел.

– Когда-нибудь я вернусь, Джесс, после того как они снимут эти плакаты. . . ну, вы знаете. Это здесь.

Яхта и правда была большая и вся черная. Джесс затормозила.

– Прощайте, Ленни.

– Прощайте, Джесс.

– Смотрите, не потеряйте ваш стишок. А то вас ждет таз с цементом. Было бы жаль. . .

– Очень мило с вашей стороны, Джесс.

– ... Внешняя Монголия много бы потеряла. Пока.

Она отъехала. Он со своими лыжами и чемоданом немного постоял, глядя на красную точку удалявшегося «триумфа». Он улыбался. В конце концов, он не так уж плохо отделался. Всё. Если и было что-то, чем он дорожил, так это – ничто.

## Глава VIII

Было всего семь часов, и она бесцельно катила по Женеве. ОЗЖ было открыто круглые сутки, но они там ничем не могли ей помочь. «Триумф» был просто обыкновенной машиной. Папа Иоанн XXIII скончался. Ее отец, конечно, все поймет, но дело в том, что он был способен понять что угодно. И еще он нуждался в своей дочери, этой примерной девочке со строгими принципами, у которой голова крепко сидела на плечах; правда, незачем было лишать его иллюзий. Церкви здесь были на всех углах, только к чему. . . лучше пойти выпить кофе со сливками: точно так же успокаивает. В университете по расписанию стоял курс поэзии, но у нее было смутное впечатление, что поэзии уже предостаточно. Она даже не успела помыться. Ее все еще переполняла поэзия. Она остановила машину у пристани и вышла. Утренний свет был мягок и прозрачен, воды озера – тихие, лебеди спокойно спали, засунув голову под крыло, чайки только начинали просыпаться, их крики звучали пока слабо и робко, как пастушья свирель на заре. Разбитое сердце, озеро, чайки – чего лучше для плохой литературы. К тому же со времен Чехова чайки превратились в такое затасканное клише, что иногда удивляешься, как они вообще еще могут летать. Лорд Байрон подгробал к ней с широко открытым клювом, но так как ей нечем было его угостить, он тут же отвалил, как последний хам. Я не думаю, чтобы Мэрилин в самом деле покончила с собой. Она принимала по двадцать таблеток снотворного, чтобы просто уснуть. Потом этот звонок, она просыпается, не может больше заснуть, глотает не задумываясь еще двадцать, и вот результат. Размышлять о самоубийстве на берегу озера, любясь чайками, да, докатились!

– Привет, Джесс, мы тебя в. . . везде искали.

Жан кричал ей с моста, держа в руке красно-желто-фиолетовое знамя. В центре на полотнище располагался окровавленный меч.

– Что это за флаг?

– Не знаю. Наверное, еще кто-то стал независимым. Я его стибрил в сортире гостиницы «Б. . . Берг».

– Они теперь сортиры флагами украшают?

– Д. . . Джесс, швейцарские гостиницы уже не знают, что с этим делать. Идем. Мы устроили охоту с. . . с рогом. Идем, п. . . посмотришь на трофеи.

Это был серебристый «роллс» с седеющим шофером в серой униформе, из разряда: скромность и незаметность прежде всего. Вид у шофера был какой-то раздосадованный. Поль расположился на серых кожаных подушках заднего сиденья в весьма непринужденной позе, как хозяин. Галстук на сторону, рубашка помята, лицо – еще больше. Да, быть Че Геварой в Швейцарии, конечно, дело не из легких, но сюрреализм и дадаизм, хэппенинг и психодрама, «десакрализация», «разоблачение» и «развенчание» мифов и культов, все это превращалось у него в способ выражения чисто артистический, в жестикуляции в духе Джексона Поллока, только бесталанного. Бунт юных буржуа против буржуазии был обречен обратиться грубой шуткой или фашизмом, потому как единственная разница между этими двумя проявлениями состоит в нескольких миллионах трупов. Как-то невыносимо противно смотреть на студентов, вышагивающих с расprostертыми объятями навстречу бастующим рабочим, они похожи на разгоряченных самок перед настоящими самцами. В Америке было двадцать два миллиона негров и ни сантиметра настенных надписей. Вот почему сто восемьдесят миллионов белых американцев умирали со страху, а в Европе настенная живопись мирно перекочевывала в шикарные альбомы, пылившиеся потом по гостиним.

В «роллсе» находился еще один пассажир, причем до того набравшийся, что оставалось лишь молча восхищаться: вот что значит настоящее искусство. На нем была клетчатая пара, галстук-бабочка, замшевый жилет канареечно-желтого цвета и серый котелок, в каких обыкновенно ездят на скачки. На шее у него висел бинокль, словом, можно было подумать, что он только что с ипподрома, где проигрался в пух, поставив все на одну кобылку: лишь одна большая любовь могла довести его до такого состояния. Его синие остекленевшие глаза слегка вылезали из орбит, выталкиваемые изнутри алкоголем, переполнившим уже всякую меру. Держался он очень прямо, постепенно застывая в этой позе, скрестив руки в перчатках на набалдашнике своей трости.

– Что это такое?

– Это? Это – барон. Мы сняли его с урны перед баром, где он дожидался часа открытия. Он уже начинал трезветь, от подобной картины всегда сердце разрывается. К счастью, в «роллсе» есть бар. Мы спасли ему жизнь. Как гласит плакат дорожной безопасности: «Научитесь действию, которое спасает». Не могли же мы позволить человеку протрезветь и оказаться в Швейцарии. Заметь, я даже не уверен, что до такого состояния его довел алкоголь. Скорее швейцарский нейтралитет. Или дипломатическая неприкосновенность. Как твой отец?

– Откуда взялся «роллс»?

– Это военный захват. «Ролле» в нашем распоряжении на двадцать четыре часа. Один тунисец, весь такой хорошенький, изящный, выходил из «Международного Кредит-банка». Я его снял своим «Полароидом», и он оказался очень сговорчивым. И очень понятливым. Мы берем его «ролле» с шофером на двадцать четыре часа, а потом все возвращаем, в том числе и негативы.

– Не слишком ли вы заигрались, ребята? Как же это называется-то, забыла? Шантаж, что-то в этом роде.

– Обыкновенная студенческая шутка, Джесс, дорогуша. Без всяких ухищрений. Мы не собираемся менять мир, просто взорвать его к чертям, и все. Вот это дело для папенькиных сынков. Пролетариат займется всем остальным. Знаешь, какое самое заветное желание каждого уважающего себя папенькиного сынка?

– Знаю: чтобы его отчислили, – сказала Джесс.

– Точно. Южноамериканские банды – не место для наших мальчиков. Их место здесь, в своей семье. . .

Жан обратил к ним свою морду очень юного и очень грустного коня:

– Старик, на свете ведь есть еще и буржуазный невроз, т. . . только ты не обижайся. Я, например, слабо п. . . представляю С. . . Скотта Фицджеральда в роли революционера.

– Я, кажется, сказал: обычная студенческая шутка. Чего ты привязался?

– Не говоря уже о том, что Weltschmerz, Sehnsucht, зло века, все это накладывает свой отпечаток, как культурная революция. Может быть, я рассуждаю слишком по-американски, я не знаю. Однако не только золотая молодежь играет в русскую рулетку. У каждого негра, там, у нас, есть свой смысл жизни.

Барон икнул.

– Смотри-ка, а он, оказывается, живой, – сказала Джесс.

– Шофер, поехали, – сказал Поль.

– Куда вас отвезти, месье?

– Не задавайте глупых вопросов. Поехали. Мы молоды. У нас еще есть шанс куда-то прибыть в конце концов.

– Хорошо, месье.

Самый высокий уровень жизни в мире дефилировал за окнами в безупречном порядке.

– Мне как-то очень неуютно сидеть в «роллсе» с утра пораньше, – сказала Джесс. – Слишком парадно. В университете в девять часов – курс русской поэзии.

– Русским стоило бы п. . . подождать со своей п. . . поэзией, – сказал Жан. – Тут еще одного т. . . товарища сняли с Берлинской стены. Почему бы Евт. . . тушенку не сочинить нам об этом с. . . стишок?

– Пипи, – сказал барон.

– Развезло, – сказал Поль. – Шофер!

– Да, месье?

– Остановите. Дайте господину отлить.

Они остановились. В разговоре ясно слышались нотки бессонницы, окурков и опрокинутых пустых стаканов. Katzenjammer<sup>1</sup>. Башка трещит, как после праздника длиной в двадцать пять лет. Завтра газеты запестрят заголовками: «Трагедия пресыщенности», «Швейцарию взрывают». Двух тысяч бунтарей в Нидерландах уже недостаточно, Франция и Германия также достигали теперь той степени показного благосостояния, которое превращало западный социум в настоящее провокационное общество.

– Что нас мучает, ребятки?

– Ничего, – сказал Поль. – Это – неизлечимо.

Барон возвращался, поддерживаемый шофером. Тот, казалось, еще больше посерел.

– Ну вот, – сказал Поль. – Поехали. Замечательный «роллс». А не сбросить ли нам его в озеро?

– Месье!

– Шофер, рулите в озеро.

– Но, месье. . .

– Не бойтесь, мы вас выпустим. Так, «роллс», в озеро марш!

Как реклама нам внушила,  
«Ролле» – прекрасная машина,  
Шик, блеск, красота,  
Три цилиндра, два болта,  
Мягко стелет, тихо прет,  
Все удобства и комфорт.  
Мы решили покутить,  
Тачку в озеро спустить.  
Нечего на нас давить,  
Мы хотим красиво жить.

– Превосходно, – заметила Джесс. – Дстойная настенная мазня. Может, на этом и остановимся, а, друзья?

– Кака, – заявил барон.

– Шофер, вы слышали? Дайте господину облегчиться.

– Месье, – возмутился шофер, – я служу тридцать пять лет, и никогда еще. . .

– Вот как раз и начнете. Помогите этому господину.

– Поль, хватит, – сказала Джесс.

– Спасибо, мадемуазель, – сказал шофер, – от всего сердца: спасибо.

– Кака, – повторил барон.

<sup>1</sup>Похмелье (нем.).

- Давай, старина, давай прямо здесь. Развенчаем культ «роллса».
- Ну? И скоро это кончится, ваш harreping? – спросила Джесс.
- Ночной клуб, разнузданные клиенты, идеологический джаз, который уже ничего не несет, какой-нибудь Боб Дилан, вцепившийся в свою гитару, и. . .

Бизнесмен вонял в углу:  
 Вот бы им одну войну!  
 Оркестрик на террасе  
 Прошелся по классам –  
 Буржуазия, пролетариат. . .  
 А в Китае, говорят,  
 Испытали атомную бомбу.

– А ты не заходил в «Крэйзи хорс салун»? – спросила Джесс. – Кажется, это – лучшее, что можно найти в этом роде. У меня такое впечатление, что твой номер сейчас как раз в тему. Поль, твоё упадничество – сплошное притворство. Плод, может, и созрел, только червяка там нет и в помине.

– Я неудачник, что ж поделаешь.

Он достал бутылку виски из бара красного дерева и стал ждать барона, которого вел, поддерживая, шофер. У шофера был такой вид, будто он идет по минному полю.

– Мне проще, П. . . П. . . По. . . Поль. . .

– Я не Пополь, сколько раз тебе повторять!

– Я и не говорю По. . . Поль, я за. . . заикаюсь. Я могу согласиться с логикой, но не с той, в которой мне нет места.

– А, фашизм!

Джесс знала одного переводчика в ООН, который совершенно невообразимо заикался в повседневной жизни, но говорил безупречно, когда переводил слова оратора. Этот человек испытывал психологические трудности, только когда говорил от своего собственного имени. Стоило ему начать передавать мысль другого, как он сразу обретал спокойствие и уверенность в себе. Ему нравилось пропускать мысль через себя.

– Что с тобой, Джесс?

– Ничего. Сегодня ночью со мной случилась неприятность.

– Что? Что произошло?

– Я переспала с одним парнем.

Надо признать, что они там, в компании «Роллс-Ройс», умели делать бесшумные машины. Поль побледнел как мертвец; у него был такой оскорбленный вид, что она уже готова была признаться Бог знает в каком распутстве. Жан отвернулся от нее.

– Ну?.. Как насчет предрассудков?

– Черт возьми, – огрызнулся Жан, – я не знаю этого парня, но ты правда могла бы выбрать кого-нибудь другого.

Он больше не заикался. Выздоровел. Шоковая терапия.

– Я два года прошу тебя об этом, – начал Поль.

– Не делай такое лицо, ты становишься похож на своего отца, когда он приходит за тобой в участок.

– И давно ты его знаешь?

– Со вчерашнего дня.

– Шофер!

– Да, месье?

– Сто шестьдесят в час. Впилитесь в дерево. Это приказ. Вы имеете право выпрыгнуть на ходу.

– Прекрасно, месье, только я не стану прыгать.

Они посмотрели на него с удивлением.

– Да? И почему же?

– Я больше так не могу, месье.

– Отвезите нас в Женеву, – сказала Джесс.

– Спасибо, мадемуазель.

Барон покачивался за задним стеклом, являя собой фетиш автомобилиста.

– Мне надоело, – сказала Джесс. – Уже наигрались, в тридцатые годы. Дадаизм, нетнеизм. . . К черту! Вас в конце концов загребут в Интернациональные бригады. Сейчас время летит так быстро. Казалось бы, только что был тридцать шестой. . . Всем пока. Я выхожу.

Она подошла к яхте, но. . . это было невозможно, нет, правда, не стоило об этом и думать. Дневной свет над серой водой тонул в тумане на том конце озера, откуда тянулась струйка дыма, оставляя за собой сиреневатый след, а солнце желтело где-то во влажной взвеси неба, в котором метались невидимые чайки, резко и глупо крича.

Она спустилась к озеру.

Нет, это невероятно, как его американская внешность резала глаз. Ему никогда в жизни не следовало бы приезжать в Европу. Он даже не поднял головы, когда она вошла в каюту. Он сидел на койке и натирал мазью свои лыжи. «“Розбад”, санки, которые так нравились Гражданину Кейну<sup>1</sup>, когда он был ребенком, их у него отобрали, и он их потом всю жизнь искал. Вот что он мне напоминает своими лыжами». Она вдруг с ужасом обнаружила, что забыла снять очки, хотя надевала их только когда читала.

«Вот и торчи на этих пришвартованных яхтах в порту», – думал он.

Она ждала. Следовало хоть что-нибудь сказать. Из гостеприимства.

– Ну как дела, Джесс?

– Нормально, Ленни. Я тут проходила мимо и. . .

Разумеется. Она, вероятно, проскакала километров двадцать галопом. Эти кобылки – стоит их один раз пришпорить – понесут, не остановишь. Она присела на другую койку. Понятное дело. Однако он очень удивился: она молчала. Никакой психологии, ничего. Выждав немного, он в сомнении поднял голову, она улыбнулась, и он улыбнулся ей в ответ. Впервые он встречал девушку, с которой они сходились во всем. Она пошла приготовить яичницу с ветчиной и кофе, и после, когда они еще раз были вместе, а потом она ушла, он сказал себе, что с двенадцатью штукаами баксов – шесть для нее и шесть для него – никто не посмеет сказать, что он плохо с ней обошелся или что он ее использовал. Ему и правда крупно повезло встретить девушку, которая так хорошо все понимала и, ко всему прочему, еще и обладала неприкосновенностью. Короче, появилась реальная угроза его отчуждению, так что он решил все бросить, сесть на дневной в два сорок на Берн, а там – электричкой до Веллена, пусть даже в шале никого не будет, пусть ему придется помирать с голоду! Он не мог так поступать с этой девчонкой, и что еще серьезнее, он не хотел больше с ней встречаться: это было смертельно опасно для его отчуждения. Не мог же он допустить, чтобы его лишили самого дорогого. Даже деньги его пугали. Деньги – это ловушка. Сначала ты их получаешь, а потом они – тебя, со всеми потрохами. Он оделся и собирался уже подняться, когда услышал чьи-то шаги по трапу. Он поставил лыжи и стал ждать. Ангел приперся, кому ж еще. И не один. Он притащил

<sup>1</sup>«Гражданин Кейн» – один из лучших фильмов О. Уэлса, в котором он сам играл главную роль.

с собой какого-то белобрысого, стриженного бобриком парня, который как две капли воды походил на того типа, которого вам меньше всего хочется видеть, где бы и когда бы то ни было. Невероятно, как таких еще пускают свободно ходить по улице. Во-первых, он был весь перебит, а если что еще и оставалось не раздавленным, то торчало как-то совсем не на своем месте. Чудовищно, чего только не насмотришься в жизни.

– Ты что, Ангел, совсем умом тронулся? Привести сюда такую рожу! Сразу бы уж тогда полицию звал.

– Она согласилась повторить?

– Конечно. Мы как раз только что повторили.

– Ленни, я тебе уже говорил: желай я поразвлечься, я бы в Швейцарию не поехал. Так она согласилась?

Ему лишь стоило сказать: «Нет, она не согласилась». Даже следовало это сказать. Она оказалась еще раз в это ввязываться, вот, так что платите мне за первую ходку, и я сматываюсь. Но что-то в нем переменялось. Что-то сломалось. Это все из-за высоты, из-за недостаточной высоты над уровнем. . . Он не знал ни что вдруг его взяло, ни откуда свалилась на него подобная глупость. Верно, от его «предков первопроходцев», от тех предков, за которых отец драл ему уши в детстве. Эти предки-пионеры, ну чем тут гордиться, Господи, помилуй, – сначала эти идиоты выгнали индейцев – мало показалось, решили еще и Америку построить. Или же здесь все дело было в психологии: он просто впал в детство, такое с ним уже случалось, когда он вздумал написать письмо Гари Куперу, рассказав ему, что он тоже хочет стать ковбоем, У Буга для этого было специальное слово, он как-то назвал им одного парня, которого только что наградили медалью за героизм в Белом Доме: «незрелость» или что-то в этом роде. Словом, он сделал такую глупость, за которую только и оставалось, что наградить медалью.

– Девчонка сказала «да». Впрочем, это неважно. Потому что «нет» говорю я.

Он тут же понял, что сделал глупость, потому что эти ходячие отбросы, кажется, удивились. Вот чего не стоит делать никогда, так это удивлять таких типов, как Ангел. Когда вы их удивляете, они начинают думать, что вы можете их удивить. А они этого не любят.

– Что ж, ладно. – Ленни взял свои лыжи. – Все, привет.

– Что ж, ладно. Потому что если это ты говоришь «нет», это не так уж важно. Потому что ты скажешь «да». Как, мистер Джонс, он нам скажет «да»?

Ленни очнулся. Да, он очнулся, по-другому это не назовешь. Ему приснился сон, ему приснилось, что он был не он, а кто-то другой. Кто-то, кто идет на смерть ради чего-то, против чего-то. Герой, одним словом. Вот и таскай фотокарточку у себя в кармане – получишь интересное кино. Эту фотографию Купера, выбросить ее в первый же мусорный бачок! А девчонку бросить к черту вместе со всем прочим, не станет же он жертвовать своими принципами ради какой-то юбки. Она была опасная, эта тихоня. Она могла стереть в порошок весь ваш стоицизм, и останется вам: «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спросите, что вы можете сделать для своей страны». Чуть не попался! Он рассмеялся:

– Ты слышал об «американской мечте», Анжи? Честность, хороший всегда в конце выигрывает, ты любишь своего ближнего? Все эти. . . как же их? «Антиконформистские» штучки. Ну, ты знаешь, Анжи, о чем мы говорим! Ты это видел в кино, в цвете.

– Так да или нет, Ленни? Тебя никто не заставляет. Хочешь загнуться – пожалуйста.

– Я же тебе говорю. Я спал, когда вы пришли, замечтался. Я был где-то в другом месте.

– Ну, теперь-то получше стало? Проснулся?

– Я проснулся, Анжи. Даже странно, как трудно избавиться от всех этих фокусов, которые ты видел в кино, когда был ребенком.

## Глава IX

«Красная шапочка» считалась лучшим рестораном в городе, здесь бывали завсегдатаи еще 1928 года – вот такие дела. Стоит войти, как сразу погружаешься в атмосферу уверенности, что «мушкетеры» сохраняют Кубок Дэвиса для Франции, а картины Ван Донгена дышали со стен спокойствием тех добрых времен, когда далеко еще было до всяких инфляций, девальваций и войн. Непередаваемая атмосфера защищенности, слегка потревоженная волнениями в Германии и на Балканах, – немного раздражения, чтобы не забывать, что мы все-таки живые. Солнце никогда не заходило над Британской империей, а самым читаемым автором был Питтигрилли<sup>1</sup>, который в своем «Кокаине» живописал историю безутешной, но ветреной вдовы, хранившей у себя на секретере урну с прахом любовника и сушившей чернила посланий к новой любви своей жизни, посыпая их пеплом прежней. Сегодня эту историю рассказывали иначе: женщина приносила прах своего любовника и сыпала его в песочницу, приговаривая: «А теперь поработай, голубчик». История успела зарости паутиной. Мадемуазель Эльза у Шницлера<sup>2</sup> покончила с собой, потому что ей пришлось предстать в одеянии Евы перед банкирами, чтобы спасти отца от разорения. Сегодня она просто-напросто переспала бы с ними, не раздеваясь. Туберкулез не был еще болезнью недоедания, но признаком душевного томления. Уже лечили сифилис, но еще не вылечивали; сегодня его вылечивали в два счета, но никто его не лечил, статистика шибала ужасающими цифрами. Демографии тогда не существовало, американские негры были просто хорошими джазовыми музыкантами, они были веселы, счастливы и беззаботны и отвечали вам: «Yeah, boss»<sup>3</sup>. В Берлине декадентство цвело столь пышным цветом, что мужчина и женщина могли заниматься любовью, даже не разбираясь, кто у них в партнерах, мужчина или женщина. Социум плавал где-то между «Кабинетом доктора Калигари»<sup>4</sup> и «Завещанием доктора Мабузе»<sup>5</sup>, но всем казалось, что это всего лишь кино. В Аушвице в «Бристоле» подавали отменные закуски. Детей еще пугали тем, что от мастурбации сходят с ума или умирают, они все равно мастурбировали, но удовольствие было испорчено. Де Голль читал Моррасса<sup>6</sup> и готовил «блицкриг» немецких генералов против Франции. Грузинские князья брали в приданое самые большие состояния Соединенных Штатов. Пикассо еще наводил на всех ужас. Путеводитель «Мишлен» рекомендовал уютное кафе, две звездочки, в Орадуре<sup>7</sup>, рядом с церковью. Война в Испании не зажгла еще воображение своими чудесными пейзажами и атмосферой трагической фиесты, пока еще мир не знал расстрелянного поэта, Гарсиа Лорки, который еще здравствовал. О золотой английской молодежи,

<sup>1</sup>Питтигрилли, Дино Серхио (1902-1978) – итальянский писатель, автор нескольких романов, самый известный из которых «Кокаин».

<sup>2</sup>«Барышня Эльза» (1924) – роман австрийского драматурга и прозаика Л. Шницлера.

<sup>3</sup>Да, босс (*англ.*).

<sup>4</sup>«Кабинет доктора Калигари» – фильм немецкого режиссера Роберта Вине (1919). Обычно его герои – люди с болезненной психикой, изолированные от общества.

<sup>5</sup>«Завещание доктора Мабузе» – фильм Фрица Ланга (1933), который полон предчувствия надвигающейся на Германию катастрофы фашизма, был запрещен цензурой и конфискован.

<sup>6</sup>Шарль Моррасс (1868-1952) – французский писатель и политик, пропагандировал национально-монархические идеи, превосходство «латинской расы»; во время Второй мировой войны – идеолог правительства А. Ф. Петена.

<sup>7</sup>Орадур-сюр-Глан – поселок в департаменте Верхней Вьенны, Франция, полностью уничтоженный вместе с жителями в 1944 г. немецко-фашистскими оккупантами.

героях будущей «Битвы за Англию»<sup>1</sup>, говорили, что она совершенно испорчена. Народ не был еще чем-то стоящим с точки зрения буржуазной интеллигенции. Морис Декобра приходил первым на своей «Мадонне спальных вагонов», подгоняемый Пьером Фронде на его «испао-сюзие». Да, здесь все жило прошлым, в этой «Красной шапочке», и каждый раз, когда Джесс приходила сюда, готовя свой доклад по истории о довоенном времени, у нее складывалось впечатление, что она встречает здесь призраков, которые не собирались уступать реальности ни пяди своих владений и стойко держались, сменив за эти годы разве что портного. Норковые манто говорили об удалении матки и о калориях, пугая наштукатуренными лицами без морщин и подведенными дугой бровями – маски, хранящие след былой роскоши от лучших косметологов: Елены Рубинштейн или Элизабет Арден. Кого тут только не было: и представители Общего рынка, и швейцарские банкиры, и американские дипломаты, и даже несколько девиц по вызову, лучшие из Женевы и Милана. Меню были размером с большой ватманский лист, не меньше, чтобы дамам, рассматривая их без очков, не пришлось ненароком разоблачить себя. Цены были заоблачные, но в меню не фигурировали, оставляя место для названий блюд, каллиграфически выведенных знаменитым Ансельмом, обладателем красивейшего почерка в Европе. Дипломаты народных демократий никогда сюда не заглядывали: должно быть, картина того, чего им еще предстояло достичь, грозила им полной деморализацией. Джесс, которая сгорала от ненависти к своему костюму от Шанель двухлетней давности, поздоровалась с некоторыми из присутствующих, которые неизбежно попадались везде и всюду, и быстрым шагом, чтобы избежать этих обычных пустых разговоров, элегантно придерживая сумочку у запястья, направилась следом за метрдотелем-итальянцем, о котором рассказывали, что он служил у Муссолини, или Муссолини у него, сейчас это не имело уже никакого исторического значения.

– Как поживаете, мадемуазель Донахью? Что-то мы вас теперь редко видим.

– Мы совершенно на мели, Альберто. Вы должны были бы это знать.

Это было большим шиком – сказать нечто подобное в таком месте: нужно было заслужить возможность позволить себе это. Вот что значит уровень. Метрдотель вежливо улыбнулся. Он вынужден был ответить, иначе ему пришлось бы показать, что он поверил, что это правда. К тому же он прекрасно знал, что это правда. Но на этот раз Альберто ее удивил. Он окинул публику сердечным взглядом, в котором читались все законы земного притяжения.

– Мадемуазель Донахью, все здешние посетители буквально раздавлены долгами... которые неизмеримо больше ваших. И знаете... – Он улыбнулся ей. – Боюсь, мадемуазель Донахью, как бы им всем не пришлось платить. Помните маленького Тапу-Хана, мадемуазель Донахью? Сказочные дворцы из «Тысячи и одной ночи», многомиллиардное состояние... Так вот, он расплатился сполна, бедняга. Даже тело его не смогли опознать. Сюда, пожалуйста,

Отец поднялся ей навстречу: несомненно, самый красивый мужчина из всех здесь присутствующих. Впрочем, как и везде.

– Я уже начал сомневаться, нашла ли ты мою записку.

– Что нового?

Он аккуратно сложил «Журналь де Женев» и снял очки.

– Совершенно ничего плохого, дорогая. Сюзанна Ленглен<sup>2</sup> выиграла финал Уимблдона, а

<sup>1</sup>«Битва за Англию» – воздушная борьба над Британскими островами в августе-октябре 1940 г., которую вели германские ВВС против Англии, пытаясь добиться ее капитуляции и тем самым обеспечить себе надежный тыл перед нападением на СССР.

<sup>2</sup>Сюзанна Ленглен (1899-1938) – французская теннисистка, многократная победительница международных турниров, в том числе и Уимблдона (последний раз – в 1925-м).

Бриан<sup>1</sup> выступил с прекрасной речью в Лиге Наций.

– О Муссолини можно говорить все что угодно, но народ его просто обожает, в конечном счете только это и имеет значение – народная любовь.

– Во всяком случае, германский милитаризм больше уже не поднимется.

– Эдуар Эррио<sup>2</sup> прав. Настоящая угроза миру – это американский изоляционизм. То, как США отворачиваются от мировых проблем, это самый обыкновенный эгоизм. Именно поэтому весь мир настроен против них.

– Троцкий – полный хозяин в Москве. Все посольства выражают это мнение. У Сталина никаких шансов. И это жаль. Троцкий – опасный интеллигент, а Сталин – грузинский крестьянин, осторожный и хитрый. При нем по крайней мере будет верное направление. . . Ну, а если серьезно?.. Мне предложили новое место.

Это было настолько поразительно, что они оба рассмеялись. За соседним столиком бывший посол Бразилии при Жетулиу Варгасе<sup>3</sup> говорил тому вечному женевскому румыну, который вообще-то каждый раз был новым, но его все равно все узнавали:

– Нет, мой дорогой, вам никогда не удастся меня переубедить. Германия не была готова в тридцать восьмом. У меня были на этот счет сведения из первых рук, и я передал их своему правительству.

Раздался треск, за которым последовало шипение сладкого ликера: Альберто исполнял свой номер с блинами «Сюзетт».

– Какое место?

– . . . Я согласился.

– Тебе не кажется, что это слишком. . . смело? Я хочу сказать, ты ведь только что поправился. Какое место?

– Импорт-экспорт, конечно. Просто торговля. Для инициативных. Оплата всех расходов.

– И что же ты будешь продавать?

– Замороженные овощи.

Она посмотрела на него с недоверием:

– Овощи. . .

– Да, замороженные овощи. Большие партии салатного цикория. Зеленый горошек, естественно. Еще, полагаю, морковь. . . Ах да, и испанский козелец.

– Козелец?

Он взял салфетку и вытер лоб.

– Честно говоря, я немного робею. Никогда еще не приходилось иметь дело с замороженными овощами. Конечно, я умею делать салат с цикорием. У меня даже есть один очень хороший рецепт. Что меня больше всего беспокоит, так это разморозка. Что я должен делать, по-твоему? Вынуть из упаковки и положить в печь, так?

Ей было совсем не смешно.

– Ты конечно же откажешься.

В темных глазах пропал насмешливый блеск.

<sup>1</sup>Аристид Бриан (1862-1932) – неоднократно, в 1909 – 1931 гг., премьер-министр Франции и министр иностранных дел, один из инициаторов создания блока «Пан-Европа», лауреат Нобелевской премии мира (1926 г.)

<sup>2</sup>Эдуар Эррио (1872-1957) – лидер французской партии радикалов, с 1916 г. неоднократно министр, премьер-министр в 1924-1926, 1932 гг. Правительство Эррио установило дипломатические отношения (1924) и подписало договор о ненападении (1932) с СССР.

<sup>3</sup>Жетулиу Варгас (1883-1954) – бразильский политический деятель, президент (1930-1945).

– Не может быть и речи, Джесс. Я должен смотреть в лицо реальности, даже если она оборачивается замороженными овощами. И ты сможешь окончить здесь свою учебу.

– Ты откажешься.

Он, казалось, смутился. Может быть, она произнесла это слишком жестко. У нее был сейчас такой же голос, как у ее матери.

– Прости.

– Джесси, ты стала снобом, так? Я могу быть хорошим торговцем овощами. Во всяком случае, когда оттаю.

– Это швейцарская фирма?

– Очень. «Каспер и Бенн».

Она застыла.

– Они производят напалм.

Он, казалось, был искренне удивлен:

– Что ты говоришь?

– «Каспер и Бенн» производят напалм. Это швейцарская вывеска. Мы используем ее во Вьетнаме. Твои замороженные овощи – это напалм.

– Джесс, уверяю тебя, напалм, который мы используем во Вьетнаме, чисто американского производства. На сто процентов. Можешь спать спокойно.

Позже, гораздо позже, она будет спрашивать себя, почему он выдал именно это название – «Каспер и Бенн». Должно быть, прижатый ее вопросами, он сказал первое, что пришло в голову. Он не умел врать правдоподобно.

– Аллан. . .

Она всегда звала его «Аллан», почти не называя его «отец».

– . . . Аллан, что это еще за истории?

– Наверное, я перепутал название. У меня столько предложений. . . Пстой. . .

Он порылся в кармане.

– Мне дали визитку. Вот. «Карл Блюхе» и номер телефона. Это директор их здешнего филиала.

– Торговля оружием, да?

– Вовсе нет. Замороженные овощи. Совершенно замороженные. Не взорвутся.

– Как бы там ни было, надо отказаться. Это занятие недостойно тебя. Да, да, знаю, снобизм. . . Я не хочу, чтобы ты кончил зеленым горошком. У тебя есть время, поищи чего-нибудь. . . Я, кстати, тоже нашла работу.

Он удивленно вскинул брови:

– Мой ход. Какую?

Контрабанда золота и валюты из Франции в Швейцарию. У них во Франции есть что-то вроде контроля над валютными операциями и оттока капитала. Капиталы, они картезианские. Я мыслю – значит я утекаю.

Она пожала плечами, теребя виноградную гроздь:

– Импорт-экспорт, конечно. Меня Бекендорф порекомендовал. Платят прилично. Работа сдельная. Мы должны прямо сейчас вернуть номерные знаки в Протокольный отдел?

– Нет, не раньше, чем поступит официальное уведомление. На это уйдут целые недели!

«Пять, десять заездов, – думала она, – столько, за сколько они заплатят. Хватит тихого и молчаливого бунта. Немного конформизма. Сыграем по их правилам, в их игру. У нас – всего несколько дней, чтобы оплатить счета, некогда менять мир. К тому же мир возмущает меня только потому, что возмущение позволяет мне быть частью этого мира, не чувствуя себя скомпрометированной. Когда чувствуешь себя совершенно неспособным жить в каком-либо

другом обществе, нежели это, которое выработало твои потребности и потому лишь оно одно может их удовлетворить, хорошо бы для начала суметь отказаться от себя самого, что, кажется, мне не подходит. “Экспресс”, “Elle”, “Новый обозреватель”, потребительское общество и дизайн интерьеров, самый высокий уровень жизни и материального благосостояния» бесимся с жиру и едем в Гавану очистить совесть. Протест как вид искусства. Некоторые идеи не могут без сложностей. Посмотрим на вещи прямо. Я – обыкновенный американский буржуа, мелкая обывательница с сильной склонностью к матриархату и совершенно неспособная облиться бензином и поджечь себя на центральной площади, как сделали недавно два американских студента, и которая подумает прежде, какое платье ей следовало бы надеть для самопожертвования. В двадцать лет это, может быть, не так важно, но по крайней мере стоило бы попытаться открыть глаза и перестать притворяться. Я даже не уверена, влюблена ли я в этого парня: скорее всего, просто переспала с ним, и мое американское пуританство ищет себе оправдания. И даже хуже. Он – несчастный, которого я пытаюсь использовать, чтобы вытащить Аллана и Джесс Донахью, парочку банкротов, отца и дочь. Какая прелесть! Ну, давай еще разревись. Нашла место. При полном аншлаге. К тому же заниматься самокритикой в “Красной шапочке” – это как раз по мне. Только меня уже слишком много, слишком».

Он взял ее за руку.

– Аллан, Аллан, что же делать, когда все *настоящие* проблемы – чужие?

– Мой ответ давно известен, девочка. Я только что прошел курс дезинтоксикации.

– Интересно, существует ли трагедия ничтожности?

– Как-то на днях ты вспоминала Чехова. . .

– Мы в ловушке, в плену у системы, и совершенно неспособны существовать вне того, что нас как раз и угнетает. . . Ты ведь не станешь мне говорить, что есть социальное *предназначение*? Тогда что? Вал информации, драма информатики? Знаешь, когда целый мир превращают в свое внутреннее переживание, это начинает напоминать ложную беременность. . . Что может быть унижительнее, чем сознавать, что Вьетнам и положение негров, бомбы и остальные ужасы, что обо всем этом вы думаете лишь для того, *чтобы отвлечься*? Прямо мисс Блэндиш<sup>1</sup> со своими орхидеями. Аллан, иногда харакири затягиваются до бесконечности.

Она отняла руку. На них смотрели. Не следовало забывать, что здесь они лет на тридцать переместились в прошлое и эдипов комплекс не приобрел пока неоспоримой ценности для отца семейства. Все постоянно говорили ей на коктейлях: «Джесс, вы влюблены в своего отца, это бросается в глаза». Произносилось это непринужденным тоном, который давным-давно был введен в обращение Ноэлом Коуардом<sup>2</sup>, с целью свести враждебную реальность к пустякам. Большая разница между американцами и англичанами состоит в том, что для американца его чувство собственной ничтожности является источником постоянной тревоги, а для англичанина – источником интеллектуального комфорта. Но это ничего не меняло. Очень красивый мужчина с проседью на висках и с темными смеющимися глазами смотрел на нее и прекрасно понимал, что она говорила сама с собой и с ним делиться не собирается.

– Что с тобой, Джесс? Что с тобой *на самом деле*?

– Ничего. Пустяки. Я переспала с одним парнем.

Он положил нож и вилку. Мир взорвался, не иначе.

– И кто он?

– Горнолыжник летом. Ski bum, неприкаянный.

<sup>1</sup>Мисс Блэндиш, главная героиня первого детективного романа Д. Х. Чейза «Нет орхидей для мисс Блэндиш» (1939): дочь миллионера, она становится заложницей банды гангстеров; эти ужасные несколько месяцев, проведенные в заточении, девушка расценивает как наказание «за бесполезную красивую жизнь».

<sup>2</sup>Ноэл Коуард (1899-1973) – английский драматург, автор остросатирических комедий.

- А, один из этих?
  - Да, один из этих. Американец. Красив как бог, чтобы не выходить из границ банальности. Бродяга. Я здесь ни при чем. Так вышло.
  - Да, конечно, выходит как выходит.
  - Да, действительно. . . как выходит.
  - И ты. . . давно его знаешь?
  - Двадцать четыре часа. Ну, не смотри так. В конце концов, всегда бывает момент, когда знаешь человека двадцать четыре часа, иначе никак.
  - У него есть семья?
  - Не знаю. Я абсолютно ничего не знаю.
  - Ты хотя бы спросила, как его зовут?
  - Знаешь что. . . Ленни.
  - Ленни. Ленни, и всё?
- Она тряхнула головой.
- Так, кажется, это – серьезно.
  - Прошу тебя. . .
  - Я не шучу, Джесс. Если ты не подумала даже спросить его фамилию, значит, это в самом деле было что-то из ряда вон выходящее.

Не из-за чего было плакать, нет, правда, не из-за чего, настоящие причины были у других. Стоило только послушать радио. Она попыталась ему улыбнуться, уткнувшись носом в свой платок.

- Надеюсь, между нами не все кончено. . .
- Напротив, я сожалею лишь об одном, Джесси. . .

Он наклонился и поцеловал ей руку.

- О чем же?
- Я сожалею, что не встретил тебя раньше него. Вот и все.

Ее охватил такой порыв любви и нежности, что она удивилась, внезапно обнаружив, что думает о Ленни со злобой, как будто он ей мешает.

- Ты, наверное, должна мне представить этого молодого человека, Джесс.
- Внешняя Монголия.
- Что?

– Если я предложу представить его моему папочке, он, пожалуй, слиняет во Внешнюю Монголию. Он думает, что такая страна существует.

- Внешняя Монголия? Но никуда не надо ехать: это же здесь.

Оркестр играл «Ich küsse Ihre Hand, Madame»<sup>1</sup>. Кто-то вспоминал о короле Кароле и госпоже Лупеску, под фотографией короля Албании Зогу, при входе в зал заседаний Лиги Наций» где его встречает Титу-леску. Бессменный румын говорил, что лучшего ресторана Парижа больше не существует и что есть что-то вечное и внушающее доверие в шипении блинов «Сюзетт».

- Аллан, что это за проныра, немецкий авантюрист, о котором сейчас так много говорят?
- Адольф Гитлер. Еще тот комик. Последнее средство, которое германские промышленники вытащили на свет Божий, чтобы поугатать красных агитаторов. Через полгода о нем и думать забудут. Во всех посольствах так говорят.
- В любом случае Аристид Бриан прав. Современное оружие массового уничтожения сделало войну невозможной.

<sup>1</sup>«Позвольте вашу ручку, Мадам» (нем.).

– К тому же народ отказался бы идти.

– Следует также признать, что писатели сыграли в этом не последнюю роль. «Огонь», «На Западном фронте без перемен», «Четыре пехотинца» развенчали войну раз и навсегда. Тем самым литература выполнила огромную историческую миссию.

В золотой книге «Красной шапочки» эта старая кляча, маркиза де Суонси, написала когда-то: «Мы будем приходить сюда как можно чаще. Замечательно открыть для себя, что в мире есть еще что-то, кроме войн и голода».

## Глава X

В стекло иллюминатора было видно, как метались чайки в молочно-сером тумане утра, которое все никак не хотело наступать, и слышались их пронзительные глупые крики: кажется всегда, что у них, у чаек, тяжело на сердце, тогда как крики эти вовсе ничего не значат, а эти ваши впечатления создаются исключительно вашей же психологией. Повсюду вам видится то, что на самом деле не существует, это все происходит внутри вас, вы становитесь чем-то вроде чревовещателя, который заставляет говорить окружающие предметы, чаек, небо, ветер, словом – всё. Вы слышите, как кричит осел, он совершенно счастлив, как могут быть счастливы только ослы, но вы почему-то говорите себе: «Боже, какой он грустный», они разбивают вам сердце, эти ослиные крики, но лишь потому, что настоящий осел – это вы. Теперь же вы цепляетесь к чайкам. Единственное, что означают их душераздирающие крики, это то, что где-то открылся сток отбросов, они просто сообщают друг другу хорошую новость. Все это лишь обман зрения. То есть не зрения, в общем, вы понимаете, что я хочу сказать. Вы поднимаетесь на вершину Шайдегга, ночью, смотрите на звезды и чувствуете себя на седьмом небе, совсем рядом к чему-то или кому-то; но звезды, они даже не здесь, это какие-то почтовые открытки, которые приходят к вам неизвестно откуда, свет прищипил их миллионы лет назад, и для вас они существуют только благодаря научному прогрессу. Вы восхищаетесь, стоя на своих лыжах, опершись на палки, но там, наверху, ничего нет, это все опять-таки внутри вас. Наука – опасная игрушка. Она заряжается всем, чем попало. Пиф-паф! И ничего не осталось. Тогда вы будите своего чревовещателя и заставляете все вокруг говорить: тишину, небо, чаек.

Он лежал, растянувшись на койке, скрестив руки на затылке. Койка была очень узкая, места хватало едва на одного – очень удобно. Девчонка прижалась к нему вплотную. Хорошая койка. Девчонка была совершенно голая и совершенно отсутствующая – она была там, где хорошо, – так всегда происходит, когда по-настоящему занимаешься любовью. Они были так близки друг к другу, что уже не различали, кто – где. Их было двое, то есть каждый был другим: ее груди были твоими, а твой живот – ее. Каждый был на месте другого. И вдвойне хорошо было оттого, что она молчала, эта девчонка умела с тобой разговаривать. Очень трудно бывает вместе молчать, надо, чтобы у вас и правда было что сказать друг другу. Тогда все говорится само собой, без вашего участия. Когда дышишь словами себе в лицо, получается как с чайками: все это означает лишь, что где-то есть сток, спасибо за информацию. Впервые девушка так замечательно говорила с ним, не раскрывая рта, он понимал всё. Он гладил ее волосы, тихонько, чтобы передать, что он все слышит, все понимает. И ее волосы – это невероятно – были чем-то таким естественным, сами по себе, как будто и не на человеческой голове.

Она еще сильнее прижалась к нему, прильнув щекой к его плечу: от этого вам хочется послать все к черту, все остальное, я хочу сказать, ничего лучше и не придумаете. Я этого не забуду, Джесс. Даже зимой, когда повсюду будет снег, настоящий, я не забуду. Жаль, что мы не встретились где-нибудь в другом месте, я и ты. Где-то совсем далеко отсюда, ты понимаешь? Где все могло бы сложиться иначе. Не так, как здесь.

– Как они кричат, эти чайки, – сказала она.

– Когда я был маленьким, у нас был осел, который кричал точно так же. Грустно, я хочу сказать. В конце концов я понял, что это я сам грустно кричал, а не он.

– Ты любишь животных?

– Люблю – это сильно сказано. Но что-то похожее, да.

– Как это «что-то похожее»?

– Как будто это ты, а не кто-то другой. Особенно собаки: глядя на них, думаешь, что это на всю жизнь. Но только не кошки. Был у меня один котяра, форменная свинья. Каждый раз, как ты пытался его погладить, он начинал царапаться. Он не любил, чтобы подходили слишком близко.

– Его случайно не Ленни звали, кота твоего?

– Я так никогда и не узнал, как его звали. А между прочим, он у меня появился, когда еще на лапах не держался. Я пробовал звать его Чарли, и Питером, и Бадом, но он никогда не откликался. Он выгибал спину, хвост трубой, и удирал, только его и видели. Ты никогда не знаешь их настоящего имени. Просто так они не даются.

– Ленни?

– Да?

– Кто тебе это сделал?

– Что? Как? Я не понимаю, что ты хочешь сказать.

– Целая часть тебя была убита.

Черт, а нам так хорошо было вместе.

– Никто ничего мне не делал, Джесс. Я никого никогда так близко не подпускал. И я никогда нигде долго не задерживаюсь. Если только вокруг никого нет.

– Понятно.

– Я знаю одного парня в Церматте, который говорит: «Здесь все не так. Нужно изменить мир. Нужно собраться всем вместе и изменить мир». Но если бы мы могли собраться все вместе, то и мир не нужно было бы менять. Он стал бы тогда совершенно другим. Когда ты один, ты можешь что-то сделать. Ты можешь изменить свой собственный мир, но не мир других.

За всем этим проходила невидимая граница. Разжечь огонь, оседлать своего коня, забить свою дичь, построить свой дом. Нечего уже было решать. Все решения были приняты раньше. Не было ничего своего. Вы занимали какое-то место и входили в оборот. Ваша жизнь становилась просто жетоном, вы были жетоном, который катился в разменный автомат. Ну, давайте, вставьте монетку. Insert one.

Он был так красив. Тонкие черты, блестящие волосы, сильный подбородок и темно-зеленые глаза в обрамлении длинных ресниц, похожие на загадочные пруды. А когда он улыбался, это было таким откровением, будто его чертов кот сам говорил вам свое имя.

– Нужно, чтобы дальше что-то было. Как в горах. Ты смотришь вдаль, а видишь что-то другое. Здесь же ты смотришь вдаль: ничего нет. Вечно один и тот же мир, даже если он говорит тебе, что он другой.

– Нет другого мира.

– Именно, другого мира нет... – Он засомневался. – Нет. Все-таки есть один парень, которому это удалось. Чарли Паркер. Однажды он сказал себе: «Я построю другой мир», взял трубу и стал играть.

Она сдерживалась, стараясь не погладить его по волосам. По-матерински. У нее была предрасположенность к матриархату, она это прекрасно знала.

– Ленни, у тебя есть семья?

– Нет, спасибо.

– Никого-никого?

– Я бы так не сказал. Уверен, если бы я нанял частного детектива, он в конце концов все-таки отыскал бы где-нибудь мою мамочку. Отец погиб в одной из тех стран, которые

даже не существуют. То есть я имею в виду, что они появляются, только когда там погибают люди. География, одним словом. Мой отец погиб за географию. – Он рассмеялся. – Возьми, к примеру, Вьетнам. Раньше мы даже не знали, что есть такой. А теперь Америка в нем утонула. А Корея? В один прекрасный день получаешь какую-нибудь вшивую бумажку: ваш отец или сын погиб в Корее. Бежишь смотреть карту... В Америке именно так изучают географию. Раньше она никому и не нужна была. Когда они каждый день с экрана телевизора начинают клеить тебе новую марку какой-нибудь страны, это значит, что не нужно покупать, ни в коем случае, и лучше даже слинять куда подальше оттуда. Но мой отец был в армии. Сам полез на рожон.

– Его убили во Вьетнаме?

– Нет, он нашел кое-что получше. Говорю тебе, раньше этого даже не существовало. Хаос. Таос. Что-то в этом роде.

– Лаос?

– Точно. Ты знаешь?

– Нет.

– Я тоже не знал. А теперь вот знаю. Да, Лаос. Как-то я пытался сам вспомнить и не смог. А у тебя, думаю, есть отец.

– Да.

– И... как?

– Ничего.

Он замолчал, уставившись в потолок.

– Он подорвался на mine. Все эти страны заминированы. – Она крепко обняла его, и он напрягся. – Поделим пополам. Шесть тысяч – тебе, шесть – мне. Потом разбежимся в разные стороны. Не беспокойся. Я не из тех, что липнут как банный лист. Ты больше меня не увидишь.

– Я еще не совсем готова, Ленни.

– Насчет этого дела?

– Нет. Больше тебя не увидеть.

Он тихонько рассмеялся.

– Что ты смеешься?

– Я не могу.

– Что?

– Бывают моменты, когда я хочу сказать: «Джесс, я люблю тебя», но я не могу. Мне начинает казаться, что они все здесь и врут, кто во что горазд. Как будто раздаешь обещания избирателям.

– О, нет, только не говори мне «я тебя люблю», Ленни.

– Не бойся. Странная ловушка, эти слова. Всегда как будто кто-то другой говорит, даже когда это ты сам.

– Знаешь, есть даже такая теория, по которой мы все не можем говорить то, что сами думаем, кажется, что все уже *продумано* за нас.

Он приложил палец к губам: «Тсс!»

– Только этого не хватало. Они всегда стараются заполучить тебя целиком. Думают за меня, каково? Хорошо еще, что я умею защищаться. У меня получается не думать вообще. Я не даюсь.

– Это нигилизм, Ленни.

– А это еще что такое? Нет, не говори, ничего не хочу знать. У меня нет ни малейшего желания, как же это?.. чтобы за меня думали, вот. – Он откинул голову назад, широко

раскрыв неподвижные глаза. – Пропала американская мечта хорошая жизнь Бог семья свобода индивидуализм. Голосовать против возмещения, и лучше целинными землями Запада. Революционерам – воздержаться.

– Что ты говоришь?

– Ничего. Пересказываю небольшое объявление из «Геральд Трибюн». Я люблю тебя, Ленни.

– Я тоже тебя люблю, Джесс. Я никогда еще ни одну женщину не любил так, как тебя, Джесс.

– Они здесь? Помнишь, когда говоришь «я тебя люблю», то появляются они все и лгут. . . Они здесь?

– Нет, их нет. Здесь только мы с тобой. И я тебя люблю.

– Но ты скоро уйдешь.

– А что ты хотела, Джесс, когда тебе двадцать? Чтобы я остался? Ты такое видела? Даже в кино такого не бывает.

– Можно попробовать. Всегда что-то случается в первый раз.

Она плакала. Не то чтобы уж совсем зашлась, но и этого было достаточно, чтобы крики чаек зазвучали совсем отчаянно и невыносимо. Но что же я еще могу сделать, Боже мой! Я вежливо поступаю, разве нет? Врешь, врешь, но нет, им всё мало, да что они вообще хотят? Это, наконец, бесчеловечно. Нельзя же заставлять человека врать все больше и больше. Я не собираюсь ставить мировые рекорды. Я не гонюсь за славой. Я говорю, я тебя люблю, и опять, и опять люблю, ей что, нужно, чтобы я ходил по потолку, вниз головой? Или она вообразила, что он не знает, что такое любовь, настоящая любовь? Любовь, настоящая, это прежде всего остальное, вот что это такое. Нет уж, лучше повеситься. Как там говорил Зис в своем знаменитом *самурае* или *камикадзе*, в общем, в одном из своих чертовых перлов восточной глупости: «Никогда не влюбляйтесь безумно в женщину, если только у вас уже нет жены и детей. Тогда – вперед, это даже полезно. Так вам легче будет послать вашу жену и детей». Но сейчас даже великий Зис со своими перлами ничем не мог ему помочь. Он сжимал ее в объятьях изо всех сил и начинал думать, что Ангел его надул, он мало ему заплатил: что такое шесть тысяч долларов за все то, что с ним происходит? – тьфу! Если он в самом деле влюбился в эту девчонку, даже миллиона не хватило бы, принимая во внимание, чем это грозило для него обернуться. Он даже не мог ей соврать как следует. Он говорил «я люблю тебя Джесс я буду любить тебя всю жизнь я не представляю как я буду жить без тебя», и это совсем не было похоже на вранье, это звучало как правда, настоящая. А между тем несколько раз он выдавал настоящую ложь, самую настоящую в его жизни, проверенную; и даже когда он сказал: «Джесс дорогая дорогая я не знал что можно быть таким счастливым», эту абсолютно непогрешимую ложь, и то не получалось: он сам верил своим словам, это звучало правдой, чистейшей правдой, и он уже не знал, что делать. Даже крик чаек звучал теперь правдиво. Душераздирающе. Отчаянно. Как будто уже и не они кричали, не чайки, а он сам, пронзительно. Психология. Настоящий Мадагаскар, приехали.

## Глава XI

«Красная кнопка» была главным центром Движения против термоядерного оружия в Женеве и лучшей забегаловкой во всем кантоне. Здесь же была дискотека и книжный магазин со специальным отделом, отведенным под Вьетнам и расовую дискриминацию в США. Совсем недавно она даже получила приз водуазского «Ревю политик» – как лучший клуб. Заведение – в полсотни квадратных метров, не больше, так что там в самом деле было не протолкнуться. В углу, рядом с проигрывателем, стоял телек: каждую секунду поступали новости со всего света, и вы могли принимать решения и действовать, не отходя от кассы, что называется. . . . Здесь было открыто круглосуточно, как и в ОЗЖ, каждый мог явиться сюда черт знает во сколько, чтобы подписать новый манифест и спокойно отправиться баиньки. Все было организовано как у Анонимных алкоголиков: вы могли не сомневаться, что найдете здесь моральную поддержку и немного развеетесь от своих мелких личных проблем, погрузившись в атмосферу мирового, и даже космического, бедствия такого масштаба, что вашим собственным неприятностям ничего не оставалось, как уступить дорогу, и вы сразу чувствовали себя лучше. Вы слушали последние новости – убийства, ужасы всякие – и уже меньше думали о себе, это в каком-то смысле вас подбадривало. В «Красной кнопке» вас окружала такая обстановка катастрофы, вооруженного конфликта и наводнения в Бразилии, что вы тут же избавлялись от своих забот. И выходили оттуда с большим облегчением.

Пуччини-Росси, хозяин заведения, сам был из Интернациональных бригад, и его глубоко опечаленный вид в ореоле провала как раз поддерживал нужное настроение: он напоминал вам ошибки, слабости, низости и капитуляцию поколения родителей. Однажды, может быть, даже раньше, чем мы смели надеяться, все эти юные сжатые кулаки, которые окружали его в данный момент, перестанут заявлять прежде всего о бессилии кулаков. Это был переходный период, когда черный юмор Брюса<sup>1</sup> или Морта Заля<sup>2</sup> вытапывал дикими копытами землю, утрамбовывая ее и подготавливая для будущих демонстраций, насмешки мостом соединяли вчерашний замысел и завтрашнее действие. В баре Алэн Россэ, называвший себя «корректором афиш», представлял свое последнее творение: на плакате по оказанию первой помощи, где изображалось, как надо делать искусственное дыхание, призывный лозунг «Научитесь действию, которое спасает» был заменен на другой – «Научитесь действию, которое убивает». Говорили, что молодежь «только руками машет, и больше ничего», однако эти телодвижения могут в то же время способствовать развитию мускулатуры. Близнецы Дженнаро из Бостона, которые учились вместе с ней на социологическом, слушали Карла Бёма, поддерживавшего связь со студентами-социалистами Западного Берлина; его розовое гладкое лицо, обрамленное золотом густой бороды, как-то не вписывалось в окружающую обстановку.

– В тот момент, когда вы начинаете спрашивать: «Какой коммунизм?», вы вступаете на пагубный путь манипулирования. Заявлять, что существует несколько форм марксистского общества, это все равно что сказать, что Маркс не знал, над чем он работает, и что марксизм – наука несерьезная. Я против ревизионизма, потому что я против манипулирования.

– . . . фашист недорезанный, – слышалось из-за столика, который загромождала группа студентов, склонившихся над строчащим телексом.

<sup>1</sup>Ленн Брюс – комический актер, мастер разговорного жанра, выступавший на эстраде в 50-е гг.

<sup>2</sup>Морт Заль – американский актер и артист эстрады, специализировался на социальной и политической сатире.

Проигрыватель играл отрывок из Дэйва Брубeka, «Все держится на саксофоне, – подумала Джесс. – Уберите Пола Десмонда, и пропадет весь ваш Дэйв Брубек». Одна из стен была полностью закрыта замечательной фотографией с изображением атомного гриба.

– Говорю вам, французские студенты – просто парализованные. Нулевые. На них нельзя рассчитывать. Если вы думаете, что во французских университетах что-то начнет шевелиться. . . Совершенно отмороженные. Никакой надежды.

– Да, развенчать пролетариат! Они делают из него какую-то мумию. Фимиам кадят. А что, если вернуть ему здоровый цвет лица и все его *настоящие* зубы? Когда Фажон<sup>1</sup> или Вальдек Роше<sup>2</sup> распространяются о народе, здесь уже пахнет не потом, а пасхальным ягненком. Какая гадость. Точно так же они говорят о наших дорогих павших. Вы слышали, как женщины из народа голосят о народе? Эти ваши простые женщины говорят о «народе» как о своей мистической любви. Просто тошнит. Времена, когда еще можно было с гордостью заявлять: «Я – сын народа», ушли вместе с Бурбонами и Пармой, со всеми этими дамочками-патронессами, потаскухами из высшего света. Сначала запретите актрисам говорить с экрана. Они говорят о «народе», словно глаза подводят. Привет, Джесс, как дела?

– Привет. Каждый раз, когда сюда прихожу, я как будто попадаю прямо в «Лето тысяча девятьсот четырнадцатого» Роже Мартен дю Гара, куда-то между тысяча девятьсот четырнадцатым и тысяча девятьсот шестьдесят третьим, не знаю.

– Ты видела газету? Кажется, все, что нужно молодежи, это война. Читай: как бы вас всех усрать куда подальше.

– . . . фашист.

– . . . можно быть декадентом, и это ничего не будет значить. Вспомните упадничество буржуазии Лабиша<sup>3</sup> и Фейдо<sup>4</sup> век назад. И что? И ничего, живем себе помаленьку, а как вы-то сами?

Какое-то возбуждение витало в том углу, из которого вещал Поль, сдвинув очки на лоб. Рядом с ним, прижатый спиной к стене, некий доминиканец, Преподобный Отец Бур, проше П. О., делал то, что делает любой доминиканец в месте, покинутом Богом, а именно, строил из себя доминиканца. Он курил огромную трубку, скрестив руки на груди, крепкий как боров, и распространял вокруг себя такое здоровье, как телесное, так и духовное, что близстоящих начинало мутить.

– Абсолютно не верю, что они выберут Монтини, – говорил он. – Мир не готов получить тощего Папу. Здравствуйтесь, мадемуазель Донахью.

Они подвинулись, освобождая для нее немножко места.

– Что такое, Поль? На тебе лица нет.

– Как? Ты не слышала? Сегодня утром передали по радио.

– Что? Вьетнам?

– Да нет же, раки. Они только что открыли, что у раков любовные игры длятся двадцать четыре часа в сутки. Без передышки. Это самое значительное научное открытие со времен Эйнштейна. Настоящая революция. Вот что обнадеживает.

– Ну и что же здесь такого обнадеживающего?

<sup>1</sup>Этьен Фажон (1906-1975) – политический директор ЦО французской компартии «Юманите» в 1954-1974 гг.

<sup>2</sup>Вальдек Роше (1905-1983) – деятель французского и международного коммунистического движения, в 1964-1972 гг. генеральный секретарь ФКП.

<sup>3</sup>Эжен Лабнш (1815-1888) – французский комедиограф. Пьесы «Соломенная шляпка», «Копилка» изображают пыльный мирок французского рантье.

<sup>4</sup>Жорж Фейдо (1862-1921) – французский писатель, автор многочисленных водевилей, мастер комедии положений.

– Как? Мы же не оставим эту привилегию каким-то ракам! Двадцать четыре часа напролет, вот это будет цивилизация!

– Т. . . только одни обещания, – заметил Жан.

– Да и в Штатах это не пройдет, – сказал Чак. – Во всяком случае, не с президентом-католиком.

– Вы плохо знаете Кеннеди, – сказала Джесс.

– Нужно позаимствовать это у раков, – сказал Поль. – Политика инвестиций. Нужно продвигать молодых ученых. Комиссия по правам человека должна немедленно взяться за это дело.

– Если впутать сюда ООН, единственное, что вы получите, это массовое истребление раков.

– *Coitus ininterruptus*<sup>1</sup> двадцать четыре часа в сутки! Да Швейцария до утра не доживет.

– Такое прекрасное, такое замечательное свойство – и кому? Какому-то гадскому раку. Вот тебе и Бог. Отец мой, вам должно было быть стыдно.

– Я уверена, что среди раков нет атеистов, – вступилась Джесс.

Доминиканец невозмутимо вытряхивал трубку в пепельницу.

– Что ж, дети мои, – сказал он, – счастлив отметить, что вы, молодежь, ищете чего-то большего, чем вы сами, если не считать раков. Что до меняете двадцати четырех часов достаточно, может быть, для них или для вас, но не для меня.

– Недостаточно, а? – осклабился близнец Дженнaro. – Естественно, ему нужна целая вечность. Эти святоши такие требовательные.

– Я хотел бы добавить несколько слов. . .

Он потер пухлые руки с удовлетворенным видом гурмана.

– Хитрец, – улыбнулась Джесс. – Вы похожи на кота, который собирается проглотить парочку жирных мышей.

– Я хотел бы рассказать об инсектицидах» – сказал доминиканец. – Новые дезинсекционные средства на редкость эффективны. Сколько развелось всякой нечисти, паразитов, дряни разной. Так вот, они прекрасно со всем этим справляются. Но есть одна проблема: эти мощные инсектициды своим действием убивают и окружающую живую среду. Вы, может быть, читали книгу Рэйчел Карсон «Немая весна»? Там она с пугающей откровенностью показывает, как, пытаясь очистить природу, мы в конце концов губим ее на корню, ее красоту, плодородие, ее многоголосие и изобилие. И в результате – немая весна, без стрекотания кузнечиков и пения птиц. Ваш идеологический ДДТ дает точно такой же эффект. С каждой постыдной ложью, с каждой мерзкой тварью, которую они уничтожали, они губили и часть природы, правды и красоты; они возомнили, что помогают прекрасной весне, но когда весна пришла, все заметили, что осталась только тишина. Вот и весь ваш цинизм: пожирающее пуританство. Езжайте-ка, поживите в Венгрии. Вас там научат молчать, тогда у вас появится волшебное чувство, что вам есть что сказать.

– А вы когда-нибудь были с женщиной, П. О.? – спросил близнец.

– Конечно. Задолго до того, как стать священником.

– Ну и как?

– Не будь идиотом, – одернул его Поль. – Сам видишь, он стал священником. Вот тебе и «как»!

Отец Бур добродушно улыбался. У него было румяное лицо, нос картошкой, выбритый затылок с подковой волос на висках и очки в металлической оправе.

<sup>1</sup>Непрерывное сношение (лат.).

- Взгляни, какой он довольный, спокойный, благодушный. Вот что значит вера. Брр!
- Наверное, он притворяется, это же невозможно, – сказала Джесс.
- К. . . как? К. . . как это притворяется?
- Он же не говорит вам о Сент-Экзюпери или Камю.
- Он м. . . мухлюет. Это ужасный лицемер.
- Словом, – заключил доминиканец, – я жду пробуждения религиозности. Эта возможность свалилась прямо вам на нос, дети мои. Так вот, у нас в монастыре всегда найдется место для послушников, там, в Грале. Это в горах, можно даже кататься на лыжах. Некоторые наши братья, например, любят кататься. Вы еще придете к нам, маленькие мои щенята.
- Придем, – пообещал Поль. – И бомбу захватим.
- Там, в горах, у меня есть один юный друг, один из тех американских «писателей», которые рассчитывают когда-нибудь что-нибудь написать, некий Буг Моран. Он как-то задал мне очень любопытный вопрос. Загадку. Что-то вроде детской считалочки у американцев. Вот послушайте» и простите мне мое произношение: «Who took the cookie from the cookie jar?» Кто, скажи, стянул из формочки пирог?
- Not I took the cookie from the cookie jar, – ответила Джесс.
- Then who took the cookie from the cookie jar? – подхватил близнец Дженнаро.
- Я вижу, вы разбираетесь в этом вопросе, – сказал доминиканец. – У вас у всех блестящие способности и обширная информация, так что, может быть, вы и найдете ответ. Не знаю, кто у вас стянул ваш пирожок. Наверное, наука, Фрейд или Маркс, или процветание, или же вы сами его разрушили своими морилками. Но вам его ужасно не хватает, и вы готовы забить это пустое место неизвестно чем. Каким угодно ширпотребом.
- П. . . понятно, – пробурчал Жан. – Мы ф. . . фашисты. Не с. . . смешите меня.
- Бур поднялся.
- Я не бегу с поля боя, – объяснил он, – но завтра я еду кататься на лыжах в Бернские Альпы. Летние трассы. Три тысячи метров. Разреженный воздух. Вы чувствуете себя там как дома. Спокойной ночи, маленькие мои обделенные. Надеюсь, вы получите свои двадцать четыре часа оргазма и сравняетесь тогда с членистоногими. Чао
- Он величественно поплыл к выходу.
- Вот шельма, так опустить! – сказал Поль
- Это, наверное, будет следующее, – предположил близнец. – Что-то совсем новое. Религия, я имею в виду. ЛСД уже всем надоел.
- Фашизм все равно останется, – сказал Жан.
- А х. . . хуже всего, что все остальное может п. . . пройти.
- Всем досталось, – сказал Чак. – Хорошо, что я – черный. Я в своей тарелке. А вы всегда как не у себя дома. Положим, вы – дорогие гости, только не надо наступать на больную мозоль и говорить о *наших* проблемах. Не надо говорить с афро-американцами о коммунизме. Потому что мы не хотим, чтобы нас примазали. Ни к пролетариату, ни вообще к чему бы то ни было. И еще. У нас нет ни малейшего желания опрокидывать американский капитализм, совсем наоборот. Мы хотим, чтобы нам *заплатили*. За столетия каторжного труда и пота, когда нас обдирали и эксплуатировали, за все, с процентами; и мы вовсе не намерены делить то, что нам причитается, с белым пролетариатом. Пусть белые заделываются кем хотят, коммунистами, не коммунистами, платить все равно придется. Борьба афро-американцев – это борьба между черным капитализмом и обогащением черных. А черного пролетариата нет и быть не может, потому что каждый негр – прежде всего имущий, которого лишили его имущества, обокрали, ободрали, поимели, и мы хотим, чтобы нам вернули то, что нам причитается, и с процентами. Коммунизм – это наш враг, потому что ратует за бесклассовое общество, за то, чтобы все

было общее, и имущество, и справедливость, минуя этап общества черных, имущества черных, справедливости черных. Негры не станут соваться в вашу революцию, потому что она шита белыми нитками. Нас опять хотят использовать. Нет уж!

– Кто это сказал, что фашизм не п. . . пройдет? То есть я хочу спросить, что за ф. . . фашист это сказал?

– Нам нужно найти средства, и как можно скорее, – вещал Карл Бём. – Речь идет не о том, чтобы пустить под гору существующий режим, речь о *доверии*, если позволите. Возьмем, к примеру, монополию Шпрингера<sup>1</sup>; можно доказать, что мы существуем как организованная сила, своим бунтом заставляя Шпрингера развалиться. Коктейль Молотова по два швейцарских франка.

– А что вы предлагаете в качестве гарантии? – спросил Поль. – Это первое, что потребуют швейцарские банки.

– Очень смешно. Юмор – это не что иное, как лицемерная форма бездействия.

Джесс побывала там еще немного, стараясь потерять себя из виду, но следовало признать очевидное: бывают моменты, когда ни возмущения афро-американцев, ни Вьетнам никак не могут помочь вам отвязаться от себя самого. Невзирая на все идеологические приступы, это чертово маленькое королевство «Я» не сдает своих позиций и не позволяет вам, покинув его пределы, спрятаться где-либо на просторах небытия чужих страданий. Даже какой-нибудь катаклизм, который мог бы унести половину человечества, не задел бы вашего невыносимого «Я», с его горячим круассаном и кофе с молоком. И в то же время «Я» было отменено, запрещено, отрицаемо. Ни в одной серьезной книге не осмелились бы говорить о чувствах иначе как о «сентиментальности». Стихи о любви? Это было просто невыносимо, это расценили бы как преступление против поэзии, против «разума» и «страданий этого мира», переживать разрешалось только беды всепланетного масштаба, «массы» стали культом безликости, от слов «сердце» и «душа» несло тупоумием или пошлостью дамочки из «Максима»<sup>2</sup>, личность встречалась теперь лишь в «грязном единоличнике», мужчины придавали такое значение мужественности, что женщин и близко не подпускали, частная жизнь стала чем-то вроде мастурбации, женщины превратились в каких-то совершенно особенных человеческих существ, лишенных своей человечности, отношения между людьми представляли собой одни демографические трения, все «настоящие» проблемы исчислялись миллионами, не опускаясь ниже класса, расы или нации. Демографический кризис заставлял рассматривать рождаемость с позиций смертности, «Я» было оскорблением для народа и имело право только на самокритику, «народ» являл собой единственный фасон готовой одежды, который не выходил из моды, как костюмы от Шанель, которых разве что он один, народ, и не носил, и самая великая сила разума после двадцати революций оставалась Глупостью, с той только разницей, что и она тоже, как и все вокруг, приняла космические масштабы. Сломать закон, неважно какой закон, было единственно возможной формой протеста. Признать, что единственная вещь, имевшая для вас значение, – это какой-то дикий кот с безумными зелеными глазами, которого надо было удержать и не пускать в его снежные долины и Внешние Монголии, признать это – значило расписаться в собственной чудовищности в глазах теперешних благонамеренных. Вы превращались в какой-то нелепый засушенный цветок, забытый между страницами, скажем, «Капитала» или «Семи уроков психоанализа»<sup>3</sup>. Неужели они в самом деле сумели сделать нам немую весну, о которой говорил Бур, весну в двадцать лет, но без песни любви, без биения

<sup>1</sup>«Шпрингер Ферлаг» – издательское объединение, созданное А. Ц. Шпрингером в 1945 г. и по сей день контролирующее большую часть немецкой прессы.

<sup>2</sup>«Дамочка из “Максима”» – водевиль Ж. Фейдо.

<sup>3</sup>У Фрейда число «уроков» ограничивалось пятью (З. Фрейд, «Пять уроков психоанализа», 1910 г.).

сердца, геноцид, при котором можно жить только в составе двух миллиардов? Поколения и поколения молодежи боролись против понятия греха и его миазмов чувства вины, и вот теперь новые благонамеренные в свою очередь травят вас молитвами во имя нового святого и ревниво следят за вашим общественным сознанием и вашей добродетельностью. И у вас даже нет права задать вопрос: это рассматривалось не иначе, как жестокое терзание вашего «классового сознания». Как избавиться от чувства вины? Как «развенчать культ» мира, классов, рас, народа так, чтобы тебя тут же не обвинили в эгоизме, реакции или фашизме? Следовало ли брать пример с Алена Россэ, который, прочитав в витрине Благотворительной Католической организации жалостливую фразу: «Помните, что у каждого сытого человека где-то в мире есть брат, умирающий от голода», тут же переделал ее в следующую: «Не забывайте, что у каждого человека, умирающего от голода, где-то есть сытый брат»? Что это, фашизм, буржуазная анархия или психическая гигиена? Ведь речь не о Боге и не о пролетариате, но об этом нечто, о «святом». Неужели опять, как все это тысячелетие, нам придется поджимать хвост, дрожа перед проклятием? Разве не допускалось другого «Я», кроме свиньи единоличника? Единственное допустимое «Я» напоминало толчок в общественном сортире.

Она взглянула на них:

– Как это, интересно, можно сделаться совершенно законченным негодяем?

– Нужно, чтобы была благоприятная среда, – сказал близнец Дженнаро. – Счастливый семейный очаг, обожание родственников, родители, которые не разводятся, психологическая, эмоциональная уравновешенность, материальная стабильность. В этом случае у вас – все шансы. К несчастью, с распадом семьи подросткам трудно стать толстокожими пофигистами.

– Только не надо нас морочить своими глистами, Джесс, – сказал Чак. – Или ты думаешь, ты одна такая, хочешь спасти этот мир, чтобы скорее послать его подальше?

Она сделала круг по пристани, но не осмелилась остановить свой «триумф», чтобы пойти к нему, нужно было действовать осторожно, понемногу, чтобы не спугнуть. Когда она вернулась домой, отец стоял у раскрытого окна, при лунном свете, в наброшенном на плечи пальто, и слушал, как поют соловьи. Соловьи еще могли пройти, хотя они уже давно устарели, но ее отец принадлежал к тому поколению, той эпохе, когда идеализм и гуманизм еще не рассматривались как профессиональное заболевание буржуазных интеллектуалов. Когда ты перестанешь судить своего отца, негодяйка? У тебя такая манера любить, которая ведет прямо к матриархату. Избавляйся скорее от этой удавки нежной женственности у тебя внутри, твердой как сталь, иначе ты останешься со скоропостижно скончавшимся мужем и главным пакетом акций «АйБиЭм».

– Привет. О чем мечтают молодые отцы?

– Я размышляю.

– Что-то конкретное, или это чисто экзистенциальное?

– Я размышляю о точной природе реальности. Я только что получил письмо от твоей мамы.

Она хочет взять нас обратно. Или чтобы мы ее взяли обратно. Трудно сказать... Сильная женщина.

У нее перехватило дыхание.

– Это невозможно, – сказала она наконец. – Наверное, рынок «кадиллаков» обвалился. Ты справлялся на бирже?

– Джесс, тебе не кажется, что ты с ней несколько жестока?

– Она с нами тоже была несколько жестока.

Он рассмеялся. Впервые она услышала, как он беззаботно смеется, и не потому что у него всегда были какие-то заботы. Она постоянно забывала, до чего он был еще молод и красив, с едва заметным инеем седины, который только подчеркивал глубину его темных глаз. Темное

пальто, небрежно брошенное на плечи, соловей и лунный свет казались немного надуманными, но сейчас у него появился конкурент, и он не упускал ни одной мелочи. Прирожденный сердцеед, он мог бы стать замечательным дипломатом, если бы в нем было только это очарование, и ничего больше. У него такой же нос и подбородок, как у меня, но глаза – темнее. Как можно любить двух мужчин сразу? Выходит, можно. Если бы допускался инцест, это избавило бы нас от многих проблем. Мы были бы красивой парой. Два ужасных космополита, вот что американцы и коммунисты ненавидят больше всего на свете. Мы совершенно лишены какого бы то ни было «своего дома». Добрая толика ирландской крови, как у всех соловьев. Потрясающий внутренний шик. А в остальном – отточенное мастерство балансировать на краю пропасти, это единственное, что у нас осталось общего с внешней политикой Госдепартамента.

– Ну, и какое решение мы приняли, глядя на эти цветущие яблони?

– Унизительное, Джесс. Я решил сделаться богатым до безобразия. Да, унижительно. Кто я такой, чтобы отказываться замараться? Пора и нам приспособливаться, Джесс.

– Это правда что-то серьезное, эта работа?

– Это не работа, Джесс. Это – дела. Деньги, Джесс. Мы никогда еще с этим не сталкивались. Это такая штука, в которой должно быть что-то, какое-то скрытое очарование, внутренняя красота, ну, не знаю, я решил взглянуть на все это поближе.

Она села и закурила сигарету. Только этого не хватало. Аллан Донахью в высших финансовых сферах, должно быть – доллар точно накрылся.

– Позволь, я все улажу, папуля. Я тоже кое-что нашла. Я моложе, мне легче адаптироваться.

Он даже не слушал. Радовался, как ребенок, который собирается устроить веселый розыгрыш.

– Нужно уметь проигрывать. Я становлюсь миллионером. И точка. Вилла на Ривьере, Пикассо на стенах. Я оставляю этот мир.

– И кто работодатель, конкретно?

– Швейцарские банки. Им нужен был кто-то, кто мог бы колесить по свету, пересылая им отчеты о политической обстановке в каждой стране. Надежность инвестиций. Сейчас все наши генеральные консулы – моего поколения. Друзья. Буду кем-то вроде связного. Завалим землю замороженными овощами. Отличные заводы. . .

Казалось, ему немного неловко. Она вдруг подумала, сколько нужно было закладывать за воротник при такой работе. Дружеская беседа с послом, для начала – это два мартини. . . Она молчала.

– Да, знаю, – сказал он. – Но доверься мне, Джесс.

– У меня тоже есть кое-что.

Десять заездов с табличкой «КК» – это будет шестьдесят тысяч долларов. Потом, вероятно, придется бежать куда-нибудь в Тегеран, проведать, как он там, в очередной клинике.

Соловей надрылся в лунном свете. Последний посланник, который еще держался. Остальные уже превратились в получателей.

– Кстати, мы – кто вообще? Католики?

– Естественно. От крепкой ирландской ветви.

– Хоть какая-то уверенность. Если все остальное пойдет прахом, можно будет за это зацепиться.

– Что-то не слишком гладко, с этим парнем. . .

– Что особенно прискорбно, так это когда пролетаешь в первый раз, потом уже знаешь, что есть и другие мужчины, и от этого так грустно, хоть плачь.

– Опыт.

– Да. Я еще не совсем готова к *этому*.

– Извини, если я начну говорить как отец, но...

– Замолчи. Не превращайся *просто* в отца. К этому я тоже не готова. Ты говоришь себе: «Я его люблю», а потом замечаешь, что получила всего-навсего любовника... Аллан, не остается ли в конце концов один мир с его *настоящими* проблемами? И к этому я тоже не готова, я хочу жить. А между тем все остальное слишком уж походит на «Самсона Далилу с его кошечками». Так что... Спокойной ночи.

– Именно. Спокойной ночи. Да, вот еще что... – Он взял ее за руку и засмеялся. – Согласен, упадничество. Однако можно быть декадентом, не становясь при этом заурядным. У меня такое впечатление, что Америке нечего меня бояться. Я ничего не значу. Совершенно безопасно. Высший класс: быть декадентом, ничего не компрометируя, ни о чем не заявляя. Когда тебе ничего не надо говорить, ты можешь позволить себе все что угодно. Безвредно. Настоящее бесклассовое общество – это ты и я.

Она убрала свою руку.

– Спокойной ночи. Хватит с меня соловьев и лунного света. Черт с ним, с полуночным состоянием души. Я хочу жить.

Она поднялась к себе в комнату, разделась и нырнула под одеяло, свернулась клубочком. «Нужно будет вернуться на работу в ОЗЖ, по крайней мере мне будет казаться, что я наконец занимаюсь собой. Я и правда начинаю думать, что мне нужен вовсе не структурализм и не Ларошфуко, а просто-напросто ветеринар». Глупая принцесса, запертая в толстых стенах своего маленького королевства «Я», которая уже и не знает, что ей запрещено: запирается там или оттуда выходить. Сегодня все Иерихонские трубы – это только джаз, Фрейд и Маркс под саксофон, с их кошечками соответственно. Нужно же когда-нибудь подумать и о себе, о своем месте во вселенной. И провались все пропадом, хватит уже быть потерянной собакой со всеми этими ошейниками, которые ей навешивают, не претендуя даже на место Эйнштейна, ко всему прочему.

## Глава XII

Он проделал путь от Фрайгера до Альта, через Цорн и Грюнденталь, спустившись по склону Шурра, в три дня и две ночи. Когда вы понимаете, что хотите сжать малышку в своих объятиях и уже никогда не отпускать, это значит, что пришло время сматывать. Кто бы, конечно, говорил, но я все-таки скажу: любовь, она есть. Это не какая-нибудь страшилка, это не фильм ужасов, она правда существует. Вспотеешь тут, думая об этом.

Эти шальные деньги слишком дорого ему обходились. Тогда он сказал малышке, что они нашли кого-то другого, кажется, этих табличек «КК» в Женеве пруд пруди. Да, Джесс, они говорят, что у них уже кто-то есть. Пока, да, до завтра. Да, как сможешь.

И он смотал.

Ведь это – минное поле, эти их кучи денег. Как Таос, или как его там.

УФ!

Парни в шале объявили ему, что снег на склонах Талья был такой тяжелый и так плохо держался, что там, наверху, нельзя было даже пукнуть, не вызвав тем самым лавину, – что ты, Ленни, тебе жить надоело или что? Да, или что. Но он все равно отправился туда. Ему совсем не хотелось умирать: там, в этой области смерти, еще не все было доделано, оставалось еще много работы, чего-то не хватало, но когда девчонка начинает так на вас действовать, когда она спускает черт знает куда все ваши принципы, необходимо предпринимать решительные шаги. Любовь – это не просто любовь, будь так, все можно было бы легко уладить. Но любовь – это жизнь, которая пытается вас прибрать. Она наводит красоту, старая карга. Но на высоте в три тысячи метров все начинает замерзать внутри, вы уже больше ничего не чувствуете, вам даже удается больше не думать, ни одна глупость не выдерживает: это первое, что замерзает. И еще ему хотелось вновь увидеть Таль, его тридцать километров совершенно пустой белизны, как в те времена, когда можно было построить себе что-нибудь и жить там, никому не давая адреса. Там, на Тале, была замечательная тишина, настоящая, которой нет нигде в другом месте, как, впрочем, нет и возможности услышать что-то в самом деле важное, это есть только там. . .

Он пообещал кюре, что проводит его до Грюнденского приюта, не дальше, к тому же у него для этого были свои причины. Этот друг был до такой степени задурен своим Богом и религией, что тем самым и вам поднимал настроение: рядом с ним вы чувствовали себя настоящей скотиной, и от этого вам становилось намного легче. Надо сказать, что доминиканец был еще тот лыжник, он не умел дышать и уже на полпути начал судорожно хватать ртом воздух, как задыхающаяся форель, нос у него стал пунцово-красным, а очки запотели от жара его собственного дыхания.

– Перестаньте так пыхтеть, Боже мой. А то нас сейчас лавиной накроет.

– И. . . хаа! И. . . хаа! И. . . хаа!

– А, понятно. Хорошо, я буду идти помедленнее.

– Это. . . чу . . . чудесно, эта. . . маленькая. . . прогулка! И. . . хаа! И. . . хаа!

По бокам высились два склона Кляйне Гроссе, блестя на солнце так, что не было видно даже снега, один только лучистый свет.

– Что с вами, Ленни? У вас несчастный вид.

– У меня болит живот.

Когда вы выходите на Цорн, перед вами десять, пятнадцать километров пологого спуска – море света, и ничего больше – а дальше маячит Цорн, похожий на белого орла, который сидит, распластав крылья, как бы оберегая своих птенцов, а небо – не просто синее, к какому мы, вы и я, привыкли, но, напротив, такое, какого мы с вами никогда не видели.

– И... хаа! И... хаа!

– Хорошо, привал.

Сардины с обжигающим чаем, небо, куда ни кинешь взгляд. Кажется, в Тибете именно так: такая же синь, только поди узнай, так ли. Погоня за синевой может увести вас довольно далеко. Они сидели на снегу, обжигая себе внутренности кипятком, заедая сардинами с хлебом; вот что он обожал больше всего на свете: жирные сардины с хлебом и горячим чаем, вприглядку на всю эту синеву, у которой был победный вид, да, именно победный: он забрался сюда, и никто его, сукина сына, здесь не достанет! Вот тебе и отчуждение. Небо, вот кто настоящий чемпион, не стоило с ним и тягаться. Но сардины того стоили. А потом солнце село за Шлагге, там, где в прогулом году сгинул двадцатилетний итальянец Бассано; однажды, лет через тридцать или сорок, ледник вернет его тело, и его жена придет посмотреть на него, и он будет выглядеть как ее сын, у него навсегда сохранится лицо двадцатилетнего, тогда как ей уже будет пятьдесят или шестьдесят. Тени начинали подползать к ним со всех сторон, как голодные хищники. Слышно было, как падает температура: под настом раздавался хруст. Синева выливалась в сирень, и только орлиная макушка Цорна одна блистала белизной. Доминиканец достал свою трубку – какую-то огромную корягу, и раскурил ее, воздев очи к вершинам своих благоговейных мыслей. Вид у него был весьма забавный: круглое лицо, маленький носик, на котором не хватало места даже для очков. Он вдруг стал серьезным, важным таким, обеспокоенным. Бог. Вечность. Соборы. Эти люди ни о чем другом не могут думать.

– О чем вы сейчас думаете?

– Я думаю, что мой зад начинает отмерзать, Ленни, без всякого сомнения. Что вы смеетесь?

– Ничего.

Теперь все отливало серо-фиолетовым, и снег становился противным, назойливым, холод клевал вас во все места, выискивая ваше сердце, а вокруг стояла невообразимая неподвижность, поглощавшая вас, она захватывала мозг, в котором еще болтались концы разрозненных мыслей, где-то, непонятно где, вдали от вас; вы, естественно, продолжали жить, но все это происходило как будто с кем-то другим. Уже не было и следа психологии, ни внутри вас, ни вокруг, и ему уже было до такой степени плевать на все, что он готов был хоть сейчас же развернуться и на следующий день быть в Женеве.

– Ленни, теперь уже не только мягкое место. Все богатство промерзает.

– А что вам до вашего богатства? Вы ведь священник, разве нет?

– Энергия, Ленни. Она там накапливается. Священник ты или нет, тебе без этого все равно не обойтись. – Он прикончил последнюю банку сардин. – Идемте, Ленни. А то я околею.

– Вы боитесь умереть?

– Я боюсь замерзнуть.

Ленни пробрал смех.

– Знаете, что я только что выдал внизу? В Женеве? Отказался от шести тысяч долларов. За здорово живешь.

– Да, и почему же?

– Слишком опасно.

– Что, полиция?

– Нет. Девушка. Я чуть было не поддался. Я хочу сказать, что почти уже променял на нее сардины.

– Ужас.

– Я почувствовал, что если останусь с ней еще хоть ненадолго, эта жизнь начнет приобретать для меня значение. Я и правда начинал дорожить ею. По-настоящему.

– Ленни, они сейчас отвالتها.

– Ну, так вы их подберете. Делов-то. Я передумал. Вы сможете один добраться до приюта?

– Да, конечно. А что?

– Я возвращаюсь.

– Вы с ума сошли. Такой путь – ночью!

– Помолитесь за меня. Молитвы, они никогда не срываются.

– Ленни, только между нами: иногда срываются. Редко, но бывает. Не делайте этого.

– Привет.

Он полетел вниз. Первые сорок минут прошли как нельзя лучше: он видел перед собой девчонку, ее лицо, она ему улыбалась, и это грело ему кровь, он уже не боялся замерзнуть. Потом стало немного сложнее: нужно было уже думать о ней, чтобы подбодрить себя. Но ночь ясная, фосфоресцирующая, как в серфинге, только эта ночь тебя несет, а не океан, а вокруг плещутся звезды, а не брызги. Ночью все сплошь усыпано звездами. Они сияют повсюду и скрипят сухим снегом на лыжне, и вы скользите по Млечному Пути, попирая галактики и обнимая безграничное пространство, вы мчитесь сквозь Внешние Монголии, где все тихо и спокойно, и лишь ваши лыжи слегка шуршат по снегу, ш-ш-ш, но очень мягко и приятно, как снасти тех парусников, что достигли мыса Горн. Джек Лондон все-таки классный мужик. Величайший из всех живых американских писателей. Вокруг вас уже не было мира, одна только природа. Земля становилась тем, чем ее всегда называли, планетой, и она в самом деле жила в небе, а не в пустоте. «Ш-ш-ш», – шелестели ваши лыжи по Млечному Пути, и миры отражались в сверкающем снегу, и гора иногда поднимала вас, как волна, и выбрасывала в небо, как большие волнорезы на Гавайях, где нашел свою смерть Санди Даррио, свалившись с волны в четырнадцать метров высотой. Некоторые пути к смерти были лишь способом остаться молодым, манерой любить что-то. Созвездия пеной вздымались вокруг него, иногда он оборачивался, чтобы взглянуть, как сухой снег искрами вылетает в ночное небо. Ехать нужно было быстро, не останавливаясь, не раздумывая, иначе – запросто замерзнешь. И потом, ты рисковал подхватить Загадку. Были такие бродяги, которые, слишком долго катаясь ночью среди звезд, подхватывали Загадку, а вместе с ней и Бога, и все, что только можно подхватить, когда заразишься Загадкой; печальное зрелище, когда молодые парни в расцвете сил подваливают к вам с разговорами о вечности, будто предлагают вам ночлег, и ключ уже наготове. И зря вы стали бы объяснять им, что ничего нет, что все это просто морские организмы, ну, вы понимаете, что я хочу сказать, планктон, звезды, это одно и то же, одна наука вокруг, небо, океан, это все научные штуки, материя, электроток, магнитное поле с радиационными поясами, словом, полное дерьмо, иначе и не назовешь, нужно быть настоящим навозником-астронавтом, чтобы разгрести все это. Он сбавил скорость, остановился и уставился носом в море Спокойствия. Смотри-ка, Бетельгейзе<sup>1</sup>. Эту он узнал. Привет, старушка.

Он добрался до шале чуть за полночь, совершенно измотанный, после двухчасового марш-броска с лыжами на плече. Первый поезд отходил в шесть утра.

В шале уже не было ни одной знакомой рожи, кроме Аль Капоне, которого Буг перед

<sup>1</sup>Бетельгейзе – яркая звезда из созвездия Ориона.

отъездом назначил старшим и который превратился в страшного нудилу, заставлял вас снимать ботинки у порога и расписываться в книге, чтобы отчитаться за вас перед Бугом, и еще «строжайший запрет мочиться в раковину», короче, приехали, Армия Спасения; он даже ставил пластинки Лоренса Уэлка и Френка Синатры, честное слово, я не выдумываю. Ко всему прочему, на лучших толчках в доме, тех, что из розового фарфора, он повесил таблички: «Оставляйте это место таким чистым, каким вы хотите видеть его, входя», отчего весь класс сразу терялся; повсюду в шале была такая чистота и такой порядок, что ты начинал чувствовать себя каким-то грязным пятном. Вот что значит вкус власти. Этот Аль Капоне, у него была душа организатора; такие, как он, устроили наш мир, эту помойку. Если бы Буг увидел сей порядок, который царил в шале, – ночью эта свинья Капоне даже запрещал вам мочиться перед дверью, потому что это, видите ли, застывало желтым и выглядело неэстетично, а ведь нет ничего лучше, чем отлить перед дверью прекрасной тихой ночью, засыпая на ходу, – если бы Буг увидел, во что этот хренов Хилтон превратил его шале, с ним случился бы приступ астмы, порядок для него был чем-то ужасным, потому что это не вязалось с его сущностью: я хочу сказать, чем больше порядка было вокруг, тем сильнее он ощущал весь непроглядный мрак у себя внутри.

Теперь здесь было несколько юнцов с такой длинной шевелюрой, что если бы они встали на лыжи, их можно было бы закладывать в упряжку, только вот они не умели стоять на лыжах. Новое поколение. Они приходили не затем, чтобы кататься; демографическим взрывом их подбросило в воздух, и некоторые упали сюда, в снега, другие оказались, наверное, где-нибудь в Атлантике, гребя по-собачьи. Они плели вам, что единственное, что требуется, чтобы все устроилось, это любовь, по всему было видно, что сами они ее и не нюхали, любви-то, и смели говорить такое ему, человеку, вся жизнь которого лежала здесь, в руинах, из-за любви: это было все равно, что рассчитывать на наводнение, которое все уладит. Самым отвязным был один парень из Норвегии, который зарабатывал на жизнь тем, что рисовал Распятие на асфальте, но в Швейцарии он этого делать не мог, потому что швейцарцы любят чистые тротуары, они маньяки-чистюли. Единственный, кого он здесь знал, был Мальт Шапиро, который уходил в монастырь к бенедиктинцам в Асконе, чтобы обратиться в католичество; он поступал так каждое лето; там принимали, кормили, только вот с доминиканцами это не проходило: они его уже знали. Он у них уже четыре раза обращался. Был там еще один молокосос, который все рвался разбить стекла в посольстве США в Берне, чтобы помочь неграм, и он предложил Ленни пойти с ним, но Ленни ответил, что негры ему были до лампочки, что они такие же люди, как и все остальные. Парень сообщил ему, что в Штатах придумали кое-что новенькое, чтобы отмазываться от Вьетнама: снимаешься в порножурнале и отправляешь снимки в Призывную комиссию. И вы им сразу не нужны: они не посылают во Вьетнам всякую шваль.

Он взял свою чашку кофе и вышел на улицу. На холоде кофе казался горячее. Норвежец пошел за ним, и какое-то время они стояли молча, попивая свой кофе и сплевывая в темноту ночи, общались, так сказать.

– Почему ты все время рисуешь Распятия, парень?

– Людям нравится.

– А мне нет. Я всегда вырубаю телик, когда показывают Распятие. Я не люблю новости. Я даже думаю, что будь я там, когда это происходило, Распятие, я имею в виду, то, первое, так вот, я бы не остался смотреть. Я бы вышел.

Малец хотел поехать в Америку, потому что он слышал, что там бурно развивается новое направление религиозной живописи, под покровительством Папы. «Поп-арт» называется. Ему было шестнадцать. Ленни почувствовал себя старым.

– Тебе сейчас лучше вернуться домой. Пережди года два-три. Потом тебе будет легче свалить.

– А ты? Почему ты приехал в Швейцарию, Ленни?

– Мне сказали, что у них здесь лучший снег и лучший нейтралитет. Вот почему. Ладно. Спокойной ночи.

Он прибыл в Женеву уже днем и сразу направился в ОЗЖ, но ее там не было, и ветеринар, тискавший какого-то нервного пуделя, сказал ему что-то по-французски, кажется, послав его подальше. Настоящий грубиян, короче. Невзлюбил за что-то американцев.

– Скажите Джесс, что я заходил.

– Вы что же, не видите, что это животное мучается? – спросил ветеринар по-английски.

А я что? Он посмотрел на пуделя с неприязнью. Ни сука, ни кобель, черт знает что, и сбоку бантик.

– Передайте, что я приехал. Мне-то все равно, но, должно быть, это важно, кажется, она меня повсюду разыскивает.

Ветеринар повернулся к нему спиной. Он откровенно давал понять, что вы – не собака, хам.

Ночь он провел на яхте, а весь следующий день шатался вокруг клиники ОЗЖ, но девчонка так и не появлялась. Ему было не по себе. Он не знал, что это такое. Похоже на грипп или на несварение, только больно ему не было. От этого становилось еще мерзостнее. Китайский вирус или что-то в этом роде. Они промывают вам мозги, эти сволочи. Заставляют вас признавать неизвестно что. Да, я это сделал, я ее люблю. Я признаю все, что хотите. Я не могу жить без нее? Хорошо, я не могу жить без нее. Они это называют «азиатский грипп». Потом бросают вас в тюрьму. Промывка мозгов – это страшная вещь. Он не мог больше выносить крик чаек, и негритянка пустила его спать к себе; заходил Ангел и пристально посмотрел на него, будто догадывался, в чем дело.

– Шевели копытами. Все давно готово. На миллион долларов уже накопилось.

– Ты не видишь, что я болен?

– Тогда мы возьмем кого-нибудь другого. Вас таких много здесь шляется.

На нем было все то же черное пальто верблюжьей шерсти и шляпа, в июле-то месяце, наверное, все это нужно было ему для имиджа. Вид у него и впрямь был какой-то дикий, у этого отвязанного. При взгляде на него перед глазами вставали караваны верблюдов и стаи шакалов. Все было острое, режущее. У арабов лицо – это нос. Нож.

– Может, она тебя отшила, Ленни?

– Что за шутки? Я заразился. Какая-то китайская дрянь.

– Да-да, конечно. Вы, американцы, наверное, не такие крепкие, как мы, арабы?

– Спроси у своей шоколадной подружки. Она тебе скажет, кто ей больше понравился, ты или я.

Но Анжи нужны были эти номера с буквами «КК». Он продлил ему его американский паспорт. Фальшивый, конечно. Они вам здесь могут достать что угодно. Все схвачено. Все настолько вывернуто, что однажды вы попадаете на что-то настоящее, не фальшивое, и это вас совершенно убивает.

Он не смел даже посмотреть в глаза своим лыжам.

Негритянка танцевала стриптиз в ночном клубе, располагавшемся в том же доме на первом этаже, и время от времени поднималась к нему в халатике, принося горячего бульона. Но он к ней не притрагивался. Выпивал бульон, и все.

– Что, совсем плохо, да?

– Это всё китайцы, сволочи. Азиатский грипп. Может, это и к лучшему. По крайней мере, спокойно. Помнишь, та девчонка, о которой я тебе рассказывал?

– Ну.

– Она с ума по мне сходит. Ни на шаг не отпускает. Ни минуты покоя.

– Ну.

Но она бросила на него такой взгляд, вы знаете. Тот взгляд Мафусаила, который нет-нет да и проскочит у этих хитрецов негров, будто их обо всем предупредили за пять тысяч лет до Рождества Христова, и все-то они давным-давно знали, задолго до того, как появились на свет. Они ему нравились, эти негры, потому что их не проведешь. Они знали, в чем дело. Они это знали по-настоящему. Их отлично просветили.

Потом он вернулся к ОЗЖ и крутился там целый день, но там его даже не спросили, как он, ничего. Что ему, лаять, что ли, черт!

К концу дня он все же дождался «триумфа», и у него чуть ноги не подкосились, так его измотали эти китайцы. Сердце бешено стучало, но он все-таки не кинулся к ней, видя, как она входит в клинику, с собаками он тягаться не собирался. Или не осмеливался? Уже прошло четыре дня с их последней встречи; четыре дня, это же целая вечность, самолеты за час пролетают две тысячи. Может, она уже и не вспоминала о нем. Потом она вышла. Он был здесь, стоял, прислонившись спиной к стене. Он попытался улыбнуться, но вышло как-то криво. Улыбка прихрамывала, он быстренько ее спрятал. Она вся побледнела. Они так и стояли там, два года, три, молча, неподвижно,

– Ленни.

– Да, Джесс.

– Ленни.

Он не мог вымолвить ни слова. Ему хотелось разрыдаться. Сердце его было разбито вдребезги. Всё. Конец. Ему конец. И Мадагаскар не нужен. Он больше не мог без нее. Теперь, когда она была рядом, он знал, что это безнадежно, он пропал. Никогда ему от нее не избавиться. Похороны по первому разряду, все оплачено, нечего было и брыкаться. А потом, что уж там, все равно когда-нибудь придется умирать. Так не лучше ли из-за нее?

– Джесс. Джесс.

– Боже мой, Ленни, мне уже жить не хотелось. Я думала, что больше тебя не увижу. Где ты был?

Он вдруг вспомнил пуделя.

– У меня было двустороннее воспаление печени, с осложнением. Все распухло.

– Ленни!

– Да. Они даже мерили мне температуру, так это было серьезно.

Она улыбалась сквозь слезы. Но она знала, что это была правда, В каком-то смысле, это была правда. Просто у него была своя особая манера выражаться. Без всяких там... «Они все собрались здесь и врут, кто во что горазд».

– Там со мной был какой-то пудель. Ну, они его и накрутили, скажу я тебе. Когда-то я хотел быть ветеринаром. Если ты ветеринар, тебе уже никто не нужен.

– Сейчас тебе лучше, Ленни?

– Да, лучше. Гораздо лучше, Джесс.

«Они нашли этому название, – думала она. – Горькое и циничное. Они называют это “первая любовь”. Это значит, что будут и другие». «Первая любовь». Так и видишь их улыбки, мудрые, знающие. Но они ошибаются. Никто никогда не любил дважды в жизни. Вторая любовь, третья любовь, все это значит лишь то, что это уже больше ничего не значит. Встречи. Люди встречаются. У некоторых вся жизнь – одни сплошные свидания. Когда она оказалась

наконец там, где она хотела остаться, построить свой дом, разместить библиотеку, собрать свою коллекцию любимых пластинок, отделать все самой и купить новую мебель из пластика, словом, когда она оказалась в его объятьях, все будто перевернулось, и все эти знающие, снисходительные улыбки: «О, молодость, молодость!», весь этот «жизненный» опыт, который к природе вещей примешивает гнусную похабщину, этот «прах», пепел, поднятый ветром, все это унесло к царю Соломону, к нему в могилу, туда, где гниет их мудрость вместе с другими мумиями. Или же надо думать, что никто никогда не любил до нас по-настоящему, что вполне возможно, кому-нибудь однажды приходится что-то начинать. Правда, уже были написаны восхитительные бессмертные стихи о любви, но они были пророчеством. А сейчас ото сбылось. Теперь уже невозможно будет говорить о «первой любви», во всяком случае им двоим. Они оба любили в последний раз. Они никогда не расстанутся. Это уже невозможно. После ничего не осталось бы. Она сжала его руку. Конечно, никто не станет утверждать, что яхта, стоящая на якоре у пристани на Женевском озере, идеальное место для вечности. Плюс к тому этот вид «выпавшего из гнезда», если не считать, что у него и гнезда-то не было, И вообще, нет никакого гнезда, и не было, это все – религиозная пропаганда. Правда, ей иногда случалось молиться, но только для разрядки.

– Что с нами будет, Ленни?

– Может быть, пройдет?

– Не думаю.

– Об этом нельзя думать заранее, Джесс. Можно только надеяться, и все. Ты хоть предохраняешься? Я имею в виду, от демографии?

– Ребенок от тебя, Ленни, – о таком можно только мечтать.

Мурашки по спине: от затылка до копчика.

– Зачем ты мне угрожаешь, Джесс. Не говори так. Если ты хочешь, чтобы я убрался, так прямо и скажи: «Я хочу, чтобы ты ушел, Ленни». И я уйду.

– Что такого страшного в том, чтобы произвести на свет ребенка?

Он был на взводе. Еще бы!

– Свет не готов к этому, Джесс. Свет не готов к тому, чтобы иметь детей. Я не люблю никому причинять боль, так зачем же я буду заставлять мучиться собственного ребенка? Сегодня больше не делают детей, делают одну только демографию, статистику. Ты делаешь ребенка, а потом, в один прекрасный день, он приходит и смотрит тебе в глаза. Он ничего не говорит, только смотрит на тебя, и все. И что тебе остается делать? Бросаться ему в ноги или что? Мы же можем просто быть счастливы, вдвоем, не заставляя расплачиваться за это бедного малыша. И что ему потом? К кому обратиться? В социальную помощь? Там и без него полно, понимаешь.

– Полно чего?

– Да всего этого. Иногда тебе стыдно, а иногда ты взбешен. Но если ты идешь еще дальше, ты уже начинаешь плевать на все. И главное, не нужно пытаться изменить мир, его давно запустили, и не слишком удачно, он тут же свернул не туда, и теперь болтается непонятно где, а ты сидишь внутри. И нет никого, кто мог бы вам помочь. Кто-то совсем другой. Все эти первые христиане меня уже достали, слишком давно они тянут эту волынку, уже и китайцами заделывались, и кубинцами. Хватит. Все, что ты можешь сделать с миром, это превратить его в него же. Законы науки, никуда не денешься.

Он гладил ее по голове, слегка прикасаясь к волосам. Было темно. В темноте всегда было как-то лучше. Это вас оберегало. Сразу и не разберешь, где тебя искать.

– У тебя замечательные волосы, Джесс. Нет, правда. Каждый раз, как я к ним прикасаюсь, будто понимаю, что в самом деле существую.

– Но ты и правда существуешь, Ленни.

– Да, временами. Как, например, сейчас. Но все остальное время тебе кажется, будто ты еще не родился, а только ждешь. Разве такое возможно?

– Мы могли бы вернуться в Штаты.

– Мне нечего там делать. Я не хочу ответственности.

– Политика?

– Нет! Ты что, смеешься? Ответственность. Возьми, к примеру, негров. Что мне до них? Они точно такие же, как и все остальные. Так вот, в США они меня достали окончательно, эти негры, и все из-за того, как к ним там относятся. Это же просто мерзость, как к ним там относятся. Ты знаешь, кажется, нас в мире всего три миллиарда. Не понимаю, то ли они говорят тебе это, чтобы напугать и дать понять, что ты – не из того шоколада, то ли это правда. Если это правда, то нет уже ни черных, ни белых. А есть только три миллиарда. Лишь это имеет вес и значение. Буг прав. Он говорит, что все, что я собой представляю, это демографические отходы. Был демографический взрыв, а мы – нечто вроде радиоактивных осадков, ну, ты понимаешь. Буг называет это демографическим поколением. Должно быть, он прав. Некоторые из моих приятелей выпали в Непале, другие вообще непонятно где, если только не здесь.

– А я, где мое место?

Он взял ее руку и приложил к своей щеке. Это единственное, чего ему не приходилось делать раньше ни с одной девушкой, и однако он это сделал, совершенно естественно, нисколько не стесняясь. В темноте не краснеешь.

Утром он разбудил ее. Он смотрел на набережную через иллюминатор и, казалось, был чем-то встревожен.

– Легавый. Спорим, Анжи попался?

Она рассмеялась. Это был ее отец: в фуражке, в очень «официальном» костюме, с гвоздикой в петлице. Она быстро оделась и вышла на набережную.

– Аллан, что ты здесь делаешь?

– Если в моей жизни должен быть другой мужчина, я хочу по крайней мере знать, как он выглядит.

Его ждал оливковый «бентли» с шофером; выхлопная труба выпускала тоненькие колечки дыма, как хорошая сигара» попавшая не в те зубы, а рядом с шофером сидел белый пудель с хризантемой вместо головы.

– Что это за пудель?

– Мой новый шеф. Он пригласил меня на обед. На самом деле, я получил аванс. Вот, возьми. А секретарша пуделя занимается счетами. . .

В конверте было пять тысяч *швейцарских* франков. Значит, это правда. Невероятно, но факт. Он глядел на нее с выражением торжественного триумфа. Наконец мужчина, настоящий, то есть тот, который добывает золото. Воскрешение. Спасение. Признание общественной значимости. Если собрать все деньги и сжечь их, в мире не осталось бы ни одного мужчины, «достойного этого имени». Настоящее аутодафе. Были бы одни недостойные, хвала небу. Наконец можно будет расплатиться с бакалейщиком, за телефон, за газ. . . Словом, смотреть орлом. В глазах у нее стояли слезы. Останется даже на самолет до Пекина. Что я возьму с собой, «Живанши» или «Шанель»? Во мне умирает редакторша журнала «*Elle*».

– Короче, я становлюсь, что называется, серьезным человеком. Что это за фотография, которую я нашел на ночном столике?

– Че Гевара.

– Станный способ платить долги.

- Много накопилось, понимаешь. Значит, так надо.
  - Ты ее из журнала, что ли, вырезала, из «Вог»?
  - Да, знаю, папочка, миленький. Лишенный иллюзий. Наученный жизнью. Взрослый. Опытный. Я почти слышу, как ложатся осенние листья к твоим ногам.
  - Опытность, говоришь? Я видел, что это дало России.
  - Может быть. Положим, давно пора изменить идиотский порядок. Если невозможно совершенно не сталкиваться со сволочами, то пусть по крайней мере они будут разными.
- И все это на фоне «бентли» с пуделем. Он смеялся. Надо признать, последние несколько недель он не притрагивался к спиртному, так что сейчас он пока крепко стоял на ногах.
- Мне приходится учиться быть агрессивным, Джесс. В делах это необходимо. Конкуренция. Что, мне никак нельзя увидеть моего соперника? Вот, я же говорю, конкуренция.
  - Только не так рано. Это может убить его. Слово «отец» – для него это что-то варварское, если хочешь.
  - Понятно, обычное дело, консерватор. Он будет хорошим мужем. Как бы там ни было, ты выглядишь счастливой.
  - Он скоро оставит меня.
  - Нет. Как это?
  - Он из тех парней, которые не любят нигде задерживаться. Их постоянно дергали, и теперь они боятся остановиться хоть где-нибудь, на веточке, как птицы.
  - Что ты хочешь сказать этим «их постоянно дергали»?
  - Вы – поколение капающих на мозги. Нам нужно было как-то защищаться. Мы защищались слишком рьяно. Дезинтоксикация не прошла бесследно. Она унесла с собой все. Промывка мозгов. Наголо. Пусто. Пустые поля, занесенные снегом. Все это значит лишь одно: намечается новая идейная «обработка». Говорю тебе, грядет смена сволочей. Он оставит меня, потому что вся эта любовь. . . Это патриотизм. Национализм. Любовь у нас теперь – де Голль, вот.
  - Что ты такое говоришь?
  - Я слышала, как он размышляет.
  - Кажется, он интересный мальй.
  - Нам слишком долго лгали. Теперь со слов спала маска.
- Он задумчиво смотрел на нее. Какая-то непонятная злопамятность?
- Есть кое-что, чего этот молодой человек не учел, Джесс. . . Ты сильная женщина. Волевая. Очень.
- Она застыла. Сила в женщине – это всегда было ее слабым местом.
- Знаю, матриархат. Но матриархат создали не женщины. А мужчины. . .
  - . . . *Слабые* мужчины. Будем называть вещи своими именами. Это останется между нами.
  - . . . Да, и не говори, что я похожа на мою мать, потому что это слишком просто и слишком несправедливо.
- Ее голос дрожал. Отец растерялся.
- Джесс, дорогая. . .
  - О, прости, пожалуйста. Я ни с кем еще серьезно не *встречалась*, ты знаешь. Это впервые.
- И получилось не слишком красиво. Одно маленькое царство «Я», с этим «Я» повсюду, на всех этажах, во всех углах. «Я» хочет быть счастливым, «Я» хочет взять и спрятать, «Я» хочет хранить при себе, «Я» ищет себе железное алиби, какое-нибудь китайское или кубинское, «Я» ставит фотографию Че Гевары на ночной столик, вместо иконы, в подтверждение своей благонамеренности. Ты понимаешь, что стало бы с «Я», если бы оно не нашло утешения в том же Вьетнаме, в неграх и в прочих художествах? Оно бы превратилось в Джесс Донахью

в чистом виде, вот что с ним стало бы. Я тебе уже говорила: иногда харакири затягивается до бесконечности.

«Бентли» спокойно дымил своей сигарой, но пудель уже начал беспокоиться. Немного выше, на крышах высотных зданий, светящиеся вывески «Свиссэр» и «Омега» горели тем лихорадочным светом послепраздничного дня, каким обычно тлеет неон по утрам.

– Скоро он уйдет от меня.

– Перелетные птицы, что ж поделаешь. . .

– Нет, это другое. Прежде, кажется, женщине говорили: «Ты – всё для меня». Так вот, это именно то. Я – «всё» для него, то есть весь мир. Но он уперся, ни в какую, лучше повеситься. Ты не поверишь, но этот циник – монах-траппист. Лыжи, снег, и всё. – Она улыбнулась сквозь слезы. – К счастью, у меня останешься ты.

Он смотрел на нее с грустью. Впервые он даже забыл свой юмор.

– Я люблю тебя, Джесс. Ты – вся моя жизнь, и я не хожу на лыжах. Но ты заслуживаешь гораздо большего.

– Ты же его даже не знаешь.

– О, я не имел в виду этого молодого человека. Я говорил о своей жизни. Да. . . Ну что ж, хотя бы материальные проблемы решим. Ты можешь оставить мне «триумф»? Мне он понадобится сегодня вечером. К тому же я собираюсь купить новую машину, как только мне заплатят.

Она отдала ему ключи, и он направился к «бентли», держа перчатки в руке: красивая картинка, американец без Америки. Она подумала, что это за пудель, наверное, какой-нибудь «Нестле», в Швейцарии это всегда «Нестле», если не «Сандоз» или не производство часов. Она вернулась на яхту и спустилась в каюту. Он сидел на койке, весь залитый солнцем. Солнца не было, но его золотой чуб в этом и не нуждался. Залитый солнцем. Голый по пояс, загорелый. В джинсах и опять в этих невообразимых красных носках. Лицо такой красоты, что хотелось оберегать ее, иными словами, спрятать где-нибудь подальше от чужих глаз.

Именно таким и будет она вспоминать его потом, ночью, в кошмарном сне. Сияющим. Он и не пытался скрывать, что знает, что будет дальше.

Пробежавшие затем пустые часы навсегда отпечатались в ее памяти отпечатком той вечности, которую трагическое оставляет банальному, когда в банальном остается только трагическое.

Она не перестанет вспоминать каждую мелочь с каким-то недоверием, как если бы она никак не могла себя убедить, что повседневность так просто и легко превращается в ужас. Даже когда ей пришлось отвечать полиции, журналистам, она, ощущая нереальность происходящего, колебалась, как будто говорила неправду. Да, и нужно было лгать. Опускать. Изымать. Защищать то, чего уже не было.

К одиннадцати часам она пришла в ОЗЖ – было как раз ее дежурство – и весь день занималась исключительно важными случаями: малиновка со сломанным крылом и девчушка лет шести, которая принесла умирающую бабочку и все стояла там и плакала, держа бабочку в ладошке. Ветеринар вышел из себя, как всегда, когда он ничего не мог поделать: бабочка! А еще что? Между прочим, есть еще и собаки, которые умирают от голода, в Индии; но девочке было всего шесть лет, и с этой своей бабочкой в ладошке. . . словом, на них жалко было смотреть.

Когда она собралась наконец домой, уже стемнело, но тут она вспомнила, что оставила машину отцу, и позвонила Жану, чтобы они за ней приехали. В десять, да, ровно в десять, она заметила, который был час, они все втроем сидели в «порше», но из Женевы они выбрались часам к одиннадцати, потому что Поль устроил ей сцену и поцапался с постовым.

– Ты просто не любишь меня, Джесс, вот и все. Неудивительно, что здесь, в Швейцарии, процент самоубийств самый высокий в мире.

– Не то чтобы я тебя не любила. Но я люблю другого. Это разные вещи.

Да, за несколько минут до конца она все еще думала о нем.

Поль остановил машину:

– Господин полицейский, не могли бы вы подсказать мне дорогу?

– А куда вам надо?

– Я ищу любовь.

– Что?

– Вы не верите в любовь?

– Это может обернуться для вас десятью сутками тюрьмы.

– Я только вежливо спросил у вас дорогу.

– За оскорбление швейцарской полиции.

– Что, у нас нет больше права говорить о любви с полицией?

Им пришлось проторчать три четверти часа в комиссариате и еще дуть в эту их трубку, чтобы доказать, что они не пьяны.

Границу они переехали почти уже в полночь.

Стояла одна из тех тихих летних ночей на Женевском озере, когда старые замки и мирные сады в лунном свете напоминают прежние шалости господ с пастушками.

Они увидели «триумф» сразу, как только свернули с дороги. Фары горели, вперившись в вишневые деревья, мотор еще работал, отец уже выставил одну ногу из машины, но сам, пьяный в усмерть, не смог подняться и повалился на руль, просунув в окно дверцы руку, висевшую как плеть.

– О, нет, – простонала Джесс.

– Да, это долгий и трудный бой: опять подниматься в гору, – сказал Поль. – По крайней мере, у алкоголиков хоть есть цель в жизни: больше не пить.

– Хорошо, что я не расплатилась в клинике. Пусть ждут дальше.

Она даже не остановилась, чтобы помочь ему выйти из машины, и прошла прямо в дом. Она включила свет, к черту, с меня хватит, хватит! Нельзя же жить с тенью, которая потеряла своего человека и напивается от безысходности. Где-то были малиновка со сломанным крылом и бабочка, умирающая в ладошке шестилетней девочки, и у них были *настоящие* проблемы. Что было совершенно возмутительно, так это момент, который он выбрал, для того чтобы снова скатиться. Она влюбилась в другого, и он наказывал ее, как ребенка. Эдипов комплекс наоборот: он все же слишком хорошо знал своих авторов, чтобы играть в эти фрейдистские игры.

– Д... Д... Джесс.

Она даже не обернулась. Пусть себе заикается. Жан, естественно, спешил на защиту самого слабого.

– Д... Д... Джесси.

Она обернулась, удивившись: это был не Жан. Это был Поль, который почему-то заикался. Мертвенно-бледный. Даже его очки побледнели. Она испугалась.

– Инфаркт?

– Н... Нет.

Он прислонился к стене, лицо у него было какое-то глупое. Он не мог вымолвить ни слова. Тут ворвался Жан и стрелой направился прямо к ней. Спокойный. Уверенный. Он взял ее за руку:

– Тяжелый удар, Джесс.

Он хотел помочь ей сесть, но она оттолкнула его. Теперь уже и спрашивать было не о чем. Есть пределы тому, что может выдержать человеческое сердце, особенно когда оно на самом деле человеческое. После она будет говорить им: «Первым делом я, естественно, подумала про себя. Я решила, что я последняя дрянь».

Поль хотел что-то сказать, потом махнул рукой и умолк.

– Он мертв, Джесс, – произнес вместо него Жан.

Она вдруг стала смеяться. Было так смешно слышать, как Поль заикается, а Жан говорит без запинки. Шоковая терапия.

– Не надо истерик, Джесс. Только не ты. Слишком просто.

– Я смеюсь, потому что не ты теперь заикаешься, а Поль. . . Сердце?

– Нет. Его убили.

– Кого убили?

– Пуля в спину.

Она услышала, как ее собственный голос откуда-то издали говорил:

– Самсон Далила со своими кошечками.

– Джесс, подожди дурочку валять. Не пытайся увильнуть. Только не ты. Это совсем не для тебя.

– Я сказала: «Самсон Далила со своими кошечками». Я не брежу. Совсем наоборот. Это мир стал бредовым. И потом, они что же, не знали, что у нас дипломатическая неприкосновенность? Нас нельзя трогать.

– Джесс. . .

Она не упала в обморок. Она не спряталась в нервном срыве, тем хуже для хороших манер. Она не получила право на традиционную пару пощечин, которыми обычно вас одаривают, чтобы доказать, что все поверили в вашу небольшую истерику. К черту обычаи. Убили мужчину. Ее мужчину. Раньше наши женщины умели еще и оружие в руках держать. Когда их муж падал, сраженный, рядом с ними, они не посылали за нюхательной солью, они продолжали стрелять.

– Кто? Почему?

Жан не ответил. В первый раз у нее появилось ощущение нереальности: он выворачивал ящики, опрокидывал мебель, сломал лампу, разбил окно. Хладнокровно. С размеренным спокойствием. Потом он остановился посреди комнаты и огляделся:

– Так, годится, – сказал он.

Ока закричала:

– Что это такое? Да что же это такое, наконец?

– Мы вызовем полицию, так что надо, чтобы все выглядело убедительно.

– Убедительно?

Он подошел к ней, засунув руки в карманы. Она никогда его таким не видела: холодная, спокойная ярость. Поль следил за ним оторопевшим взглядом. Можно было подумать, что этот парень всю жизнь только и ждал настоящего тяжелого удара, чтобы проявить себя.

– Джесс, будут большие проблемы. Смотри.

Он протянул на ладони золотые монеты.

– Я нашел их в машине. И еще другие. Много. Твой отец занимался контрабандой золота, Джесс. Нам-то плевать. Но полиции лучше ничего не знать об этом. Большую часть они, должно быть, забрали, но несколько штук выпало. Скажем, что твой отец, вернувшись, застал в доме грабителей, и они его убили. Ты меня слушаешь?

– Но я сама хотела сделать это для него, – сказала она.

– Что ты такое говоришь?

Она встряхнула головой. Слезы, сейчас. А что остается? Он ее опередил. Она сама собиралась ради него возить золото, но он ее опередил и сделал это для нее. Кто-то, кто знал, что он погибает, пристроился к нему, конечно, эти номера с буквами «КК». . . Она застыла. Сердце ее превратилось в ледышку.

«Они нашли еще кого-то, Джесс. Кажется, этих табличек “КК”, их в Женеве пруд пруди. Да, они говорят, что у них уже кто-то есть».

Сияющий. Да, это она могла точно сказать: сияющий. С этой своей улыбкой пофигиста, лишь бы снег был что надо.

– Джесс, ты поняла?

– Поняла.

– Мы скажем полиции, что. . .

Поняла. Они взяли их по отдельности, отца и дочь. С дочкой не все было гладко, но он старался как мог, зато с отцом все было гораздо проще. Всегда проще, когда вам больше нечего терять.

Она вдруг начала понимать, почему злость всегда так привлекала людей: она придавала смелости, небывалые силы, она несла вас. Если бы злость у людей стала иссякать, им в самом деле понадобилось бы мужество.

– Я вызываю полицию.

– Подожди минуту. Давай-ка повторим, что будем врать. . . Как так получилось, что золото оказалось в машине?

– А его там и не было. Об этом никто и не заикается. Я все собрал.

– Они будут осматривать машину. Поль, пойдй проверь. . . Погоди. Помнится, кто-то хватался пушкой.

Он остановился на пороге, испуганно обернувшись.

– Да. И что?

– Ты мне ее одолжишь.

– Вот еще, ты что, с ума сошла?

– Я знаю, кто это сделал.

– Ну, так сообщи это полиции, и дело с концом, о чем речь!

– Нельзя. Иначе придется все признавать. Контрабанду золота. Всё.

Они молча смотрели на нее.

– Всё, Джесс?

– Да, именно это я и говорю.

Поль метнул на нее горящий взгляд, ничего не сказал и вышел.

– Это не твой парень, – сказал Жан.

Она обернулась, испугавшись звука собственного голоса, в котором истерия переходила уже в грубую резкость, и слышалось еще что-то, более глубокое, что-то, в чем не было уже ничего женственного, это кричала дикая самка:

– Потому что ни один мужчина не способен на такую подлость, так? Невозможно себе представить! Это было бы впервые?

– Джесс, у них целая организация. С тех пор как во Франции ввели контроль за валютой, в игру уже вступили миллиарды, для перевозчиков. Миллиарды – люди серьезные. Они не станут доверяться какому-то двадцатилетнему шизикю. Он, наверное, даже не в курсе.

Она тупо уставилась на него:

– Что это еще за мужская солидарность? Теперь *ты* его защищаешь?

– Скорее, я пытаюсь защитить *тебя*, Джесс. Это было бы слишком, потерять *все* разом. . . Это не он. Это организация. Нужно ее разрушить.

– Это все ваше гадское общество нужно разрушить.

Он удивленно посмотрел на нее:

– *Наше?* А ты, Джесс, что будет тогда с тобой?

– Я хочу загнуться, и чем скорее, тем лучше. С этой секунды, выражаясь политическим языком, я за все то, что против меня.

– Да, из-за *личных* интересов. . . – Он направился к телефону. – Сейчас не время говорить обо всем этом, но. . .

– Но?

– . . . Есть еще *социальное* предназначение.

– Ты мне это уже сто раз повторял. Что именно это значит? Деньги?

– Посмотрим.

## Глава XIII

Он прождал весь день, и всю ночь, и следующее утро. Ничего. Она не пришла. Может быть, это не было личное, может, ей просто надоело, любовь эта. Может, это было их дело – ее и любви, и он здесь ни при чем, и нечего было думать, что все кончено между ними двумя, если все было кончено между нею и любовью. Откуда знать? Дикие они здесь какие-то. У всех – мысли, мысли, это же просто невероятно, даже пятилетнему ребенку такое в голову не придет. Он явился в ОЗЖ и битый час проторчал в компании шимпанзе с лапой в гипсе и пекинесом, который не переставая чихал. Там со всех сторон что-то мяукало и гавкало, что ни говори, животные умеют общаться. Когда им больно, они непременно вам об этом сообщат.

Наконец и к нему подошла дама с учетной карточкой и спросила: «У вас тоже кто-то заболел?» Он сказал «да» и вышел. Его достала эта девчонка, он уже не мог ни есть, ни спать, так она его достала. Он начинал даже чувствовать, что не может жить без нее, вот уж хохма, да, настоящая! Конечно, они в любом случае расстались бы, но все-таки есть разные способы, незачем было делать из этого трагедию, а она именно это и делала – настоящую трагедию.

В конце концов он почувствовал себя так мерзко, что отправился к негритянке, потому что он всегда чувствовал себя лучше с неграми. У них было огромное преимущество перед белыми: их было всего двадцать миллионов. Многовато, конечно, но все-таки лучше, чем двести. Когда вас всего двадцать миллионов, это значит, что вы еще можете ощущать себя кем-то. Когда же вас двести миллионов, это уже ничего не значит, вы – просто серая масса. Есть только большинство и полиция. Что до большинства, оно должно было бы быть упразднено демократией. Я не занимаюсь политикой, но я за демократию. А что такое демократия, черт возьми? Это – меньшинство. Негры. Мексиканцы. Пуэрториканцы. Неважно кто, главное, чтобы они не были в большинстве. С большинством демократия уже невозможна, остается одно большинство. Раньше в США было одно меньшинство. Им не пришлось бы в голову отправиться подышать в какой-нибудь Вьетнам. Оно же, меньшинство, и построило это хреново государство, а большинство им завладело. Так что, если вы вдруг спросите меня: «Какой ты придерживаешься политики, Ленни?» – я отвечу: «Моя политика – это меньшинство». К тому же сам я оно и есть: я – меньшинство, самое маленькое меньшинство, я им и останусь. Даже если мне придется карабкаться на вершину Шайдегга и там замерзнуть. Знаю, вам, наверное, смешно такое слышать, потому что американцев, их больше нет, а есть только двести миллионов с хвостиком чего-то, непонятно чего. Но сам я себя понимаю, и мне этого достаточно. Надо мной вечно подтрунивали из-за этой фотографии Гари Купера, но Куп, он всегда представлял собой лишь это: меньшинство. Он был настоящий американец, хотя мне она совершенно до лампочки, эта Америка, так, всё, передаем слово демографии и не будем больше об этом. Негры, вот они еще как-то держатся, их всего двадцать миллионов, это и есть последние американцы, негры-то, понятно, почему некоторые их на дух не переносят. Вообще-то плевал я на все это, но в данный момент я готов думать о чем угодно, только не об этой психичке. Нужно и в самом деле быть повернутой, чтобы превращать все в драму, тогда как мы могли бы спокойно расстаться через год или два, или еще позже. Я мог бы даже, ну, жениться на ней, что ли, мне-то плевать на все формальности, что вы хотите, я же, например, дал сделать себе прививку от холеры, от тифа, от желтой лихорадки, от всей этой заразы, которая у них там, в Европе. Я не хочу иметь ребенка, потому что я против

жестокости, но если она хочет выйти за меня, если она хочет завести его, тогда ладно, я уже на все согласен, мне все равно.

Ему пришлось ждать под дверью, пока негритянка закончит с очередным клиентом. Потом он вошел и сразу кинулся открывать окно: там все провоняло белым. Не белыми, а белым. Небольшая разница.

– Хочешь что-нибудь перекусить, малыш?

– Ты меня вчера уже кормила, хватит.

– В холодильнике есть жареная курица.

Он гадко посмотрел на нее:

– Сколько мужиков ты снимаешь за день?

– Хочешь подсчитать процентное соотношение?

– Почему ты не едешь обратно в Штаты, дурочка?

– А ты почему?

– Я – не негр. Мне нечего там делать.

– То есть если ты – негр, тебе там лучше, так?

– Еще как лучше!

– Как это? Объясни.

– Нечего тут объяснять. Это так, и все. Если бы я был негром, я бы и не подумал никуда дергаться из Штатов. Сегодня быть негром в США – значит быть кем-то. Это еще имеет какое-то значение. Ты знаешь, зачем ты там. Ты мне сама это сказала, когда мы встретились в первый раз. Та чайка... помнишь?

– Я просто устала.

Он разглядывал ее необъятный зад и *плейбойские* буфера, пока она красилась перед зеркалом, совершенно голая. У нее в самом деле были отменные орудия четвертой власти: круглые, сбитые, упругие.

– Ты все по этой девчонке сохнешь?

– Какой девчонке?

Она рассмеялась. Ее власти припустили галопом на месте. Он схватил пеньюар и бросил ей.

– Надень. А то мне зябко становится.

– Разве же я что говорю, мальчик? Где мое сердце? Ты не видишь, что я умираю от любви к тебе?

– Оставь это на будущее. Как-нибудь я не скажу тебе «нет». У тебя правда отличные бидоны, это уж точно.

– Она не вернулась?

– Что ж, приходят, уходят...

Она как-то странно на него посмотрела:

– Ты видел газету?

– Какую газету?

Она взяла со стола «Геральд трибюн».

– Может, тебе это будет интересно.

«Дипломат Соединенных Штатов убит в Жен...»

О, Боже мой, Боже. Он совсем обмяк, почти потек. К горлу подкатил ком.

– О, Боже, – сказал он.

– Вот тебе и «Боже». И взяли-то всего ничего: запонки да часы. А прочитай-ка это, вот здесь... Они уже прут с электрическими дубинками на «Гражданские права», там, в Миссисипи, чтобы их разгонять. Как стадо баранов. Я из-за этой статьи ее и оставила.

Он вырвал газету у нее из рук и кинулся бегом на яхту. Сейчас он чувствовал себя гораздо лучше. Увереннее. Она не пришла, потому что у нее была уважительная причина. Самая уважительная. А теперь она придет, он был в этом уверен. Он читал и перечитывал статью раз сто, не меньше. Пара запонок и часы. Убить человека ради каких-то. . . Боже мой.

Было пять часов утра. Он слышал, как встрепенулись первые чайки над водой, как сначала захлопали крылья, а потом раздались их крики, которые не умолкнут уже во весь день, эти крики отчаяния, будто и не чайки кричат, а вы, нет, следовало бы запретить такие крики в Швейцарии. Он услышал чьи-то шаги по трапу, вскочил с койки и встал как вкопанный: она спускалась ему навстречу.

Он сразу понял, что что-то не так. Не из-за отца, нет, что-то личное. Она смотрела ему прямо в глаза, как будто прицеливаясь, и тем не менее можно было подумать, что она вообще его не видит. Насквозь, ее взгляд проходил насквозь и шел дальше, вокруг света, и не упускал ничего, ничего на этом свете, можете мне поверить. Только свету было все равно. Смотри на него, хоть усмотришь. Свет – это сила. Кремьень.

Он уже открыл рот, чтобы сказать: «Дж-Джесс, это скверное дело, подлость сукина сына, кому, как не мне, это знать, мой отец тоже прошел через это, только его и правда ни за что, у него даже запонки с часами не взяли». Но его шибануло ее взглядом прямо в рожу, и он понял, что это было что-то личное, что это касалось его лично, а не вообще. Он чуть было не спросил: «Что случилось?», но в данных обстоятельствах это было не в тему. Он заткнулся.

С горы Паломар, вот как она на него смотрела. Гора Паломар, знаете, где самый большой телескоп в мире. Как будто он был за миллион световых лет от нее, он даже начал чувствовать себя как нельзя лучше, будто его и вовсе здесь не было, чего же еще было просить?

Черт возьми, почему? Что я ей сделал?

Она заметила на койке «Трибюн». «Дипломат США, уб. . . ».

– Что, Ленни, впервые о тебе пишут в газете? Ты, должно быть, доволен.

Это, конечно, была чушь, но он не собирался ломать себе голову, чтобы понять чушь. Буг Моран говорил, что все усилия науки и философии направлены лишь на одно: понять чушь. Они называют ее «Вселенная». А это ведь было совсем не сложно. Стоило только послушать чаек.

Ну ладно, невозможно все время быть популярным. Даже Ди Маджио больше никого не впечатлял.

– Это скверное дело, Джесс. Настоящая подлость. Они нашли, кто это сделал?

– Нет, можешь не беспокоиться.

– Что это значит?

– Ты ничем не рискуешь, потому что я не стану говорить полиции, что мой отец занимался контрабандой золота и валюты через франко-швейцарскую границу. Скорее сдохну. Репутация, знаешь ли. Это становится самым важным на свете, когда умираешь. Можешь сказать своим дружкам, что им нечего бояться. Это останется между нами. Я не сказала полицейским, что это они его убили. Или ты.

Он так и стоял, ни о чем не думая, год, два. . . Все, что было у него в голове, это крики чаек. Потом он смутно расслышал свой собственный голос:

– В газете говорят, что. . .

И больше ничего. Он замолчал. У него пропал голос. Да и ни к чему это было.

– Скажи мне, Ленни. . . можешь говорить откровенно, ты ничем не рискуешь. Честь прежде всего. Полиция совершенно ни о чем не подозревает. Аллан Донахью и его дочь вне всяких подозрений. И так? Ты был в деле?

Это был самый смачный удар, который когда-либо доставался его физиономии, а доставалось ей столько, что он и счет уже потерял.

Его пробрал смех. Такой веселый. Нет, правда. Это было очень смешно.

– Джесс, если бы я убил твоего отца, я бы сразу тебе сказал, без обиняков. Это первое, что я всегда говорю девушке.

Как там было, в этом *сукияки* великого Зиса, в настоящей библии, в новейшем завете?

Я не трогаю отцов.

На то есть куча молодцов.

Нет, не это.

На кой стрелять ее отца,

Если овчинка не под песка?

Нет, опять не то. А между тем сейчас как раз был нужный момент для настоящего перла восточной мудрости.

Каюк – брату, хана – отцу,

Подлецу – все к лицу.

Нет, у него в самом деле была плохая память на стихи, чтоб им всем!

– Я не убивал его, Джесс. Я не знаю, как это получилось, но я его не убивал. Должно быть, я думал о чем-то другом.

У нее покраснели глаза. Лицо было маленькое, будто растаяло, но твердое. Все остальное куда-то пропало. Ну и воля у этой девчонки, спорим, она даже чаек не слышит. Они не кричат для нее. Это для меня. Это Хемингуэй написал. По ком они кричат. Не спрашивай, по ком они кричат, они кричат по тебе.

– Джесс, я не смог бы убить человека, даже будь он твоим отцом. Во мне этого нет. Может быть, когда-нибудь, но пока я еще не дошел до этого. Для этого нужна зрелость. Мысли там всякие, идеи. Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для твоей страны. . .

Он был так возмущен, что вынужден был улыбаться во весь рот, чтобы скрыть это. Он улыбался так, что штаны трещали по швам. Просто невыносимо, как она на него смотрела! Это был даже не взгляд, а стрихнин какой-то. Ему хотелось кричать: «Джесс, о, Джесс, Джесс!», но чайки опередили его, крича наперебой. О, да, непременно стоит пропадать целыми днями в ОЗЖ, ухаживая за собачками, чтобы потом прийти и смотреть вот так. Жестокое обращение с животными, вот что это такое.

– Я не одарен настолько, чтобы убить человека. Какой я герой?

– Мне все равно.

Мне все равно, что ты убил моего отца, Ленни, лишь бы ты любил меня. Ему стало смешно.

– Занятно, твой отец делал это ради тебя, а ты собиралась делать то же самое ради него. Вы что, никогда друг с другом не разговаривали, что ли?

Он не хотел этого говорить, просто он не так выразился, и тут ему показалось, что она сейчас упадет: она задрожала всем телом и оперлась о дверь, из глаз покатились слезы, и вот тебе, пожалуйста, – чайки, это было просто невероятно, даже если у него в самом сердце сидела одна и кричала, это все равно был обман зрения, или как там его. . .

– Джесс. . .

– Ты настоящая сволочь, Ленни.

Он улыбался во всю мочь. Сиял как солнце.

– Что ты пытаешься мне объяснить, Джесс, что между нами все кончено? Что-то в этом роде? Потому что у меня такое впечатление, что жизнь только начинается.

И правда: у него было впечатление, что жизнь только начинается, настолько все это было отвратительно.

– Неважно, Ленни. Я не за тем сюда пришла. Ты сейчас пойдешь к своему приятелю и скажешь ему, что я готова.

– Готова?

– Готова перевозить золото и все остальное, неважно что, мне плевать, и когда он захочет. Но пусть поторапливается. Через несколько дней дипномера уплывут. Я полагаю, нужно будет смотреться не один раз?

Он так и застыл с открытым ртом, глупо уставившись на нее. Это не имело ни малейшего намека на смысл, значит, это было серьезно.

– Джесс, – наконец сказал он. – Ты только что сказала, что мы убили твоего отца, и теперь ты хочешь работать на нас? Ты думаешь, что если я скажу это Анжи, он не умрет со смеху? Ты работаешь на полицию или что? Они всех нас перестреляют, ты это знаешь?

Она уже готова была улыбнуться.

– А что это, Ленни, у тебя сразу вдруг появилось что-то ценное в жизни?

– Нет. Да, Ты.

Ее как ужалило. Мгновение она колебалась, а потом вдруг посмотрела на него как-то иначе, будто им еще оставалось что-то.

– Хорошо, Джесс. Я поговорю с ним. Но не думаю, что он пойдет. . .

– Пойдет-пойдет. Он ничем не рискует. Абсолютно ничем. Я не хочу, чтобы его арестовали, потому что он скажет полиции, что мой отец занимался контрабандой.

Действительно. Она была права. Этот Анжи ничем не рисковал. Золотая гарантия.

– Только это надо сделать сейчас же.

– *О'кей*. Я пошел.

Он взял рубашку и стал ее натягивать через голову. Нырнув в нее, он на секунду остановился с поднятыми руками, уткнувшись носом в материю, и застыл так, выжидая.

Как же называется это место в Азии, похоже на Внешнюю Монголию, только еще дальше? Эвтаназия, кажется, так.

Он сказал, все так же не вылезая из-под рубашки:

– Я не убивал его. Я не знаю, кто его убил. Я не способен убить даже себя самого, с чего это я буду оказывать такую услугу какому-то типу, которого я даже не знаю? Я не джентльмен.

Она улыбнулась. Он все равно не мог ее видеть, забравшись с головой в свою рубашку. Один лишь клочок светлых волос выглядывал из ворота: всё, что осталось от Гекльберри Финна.

– Пошевеливайся.

Голос из-под рубашки грустно ответил:

– Эвтаназия, вот куда бы я хотел отправиться. Я не имею ни малейшего представления, где это, но для меня никогда не бывает слишком далеко,

Вся эта история, что-то от нее уж слишком несло. Полное дерьмо, короче. Это был Мадагаскар, на этот раз настоящий, или он ничего не смыслил в географии. К тому же Анжи не пойдет.

Но Анжи завелся сразу, и зажигалку свою доставать не стал. Он встретил его там, над ночным клубом, с этим его мистером Джонсом. Ну и рожа была у этого типа, страшна, как греческая судьба, не о чем было и говорить!

– Анжи, я ему не доверяю. Это не по-божески, его проделки. Повторяю тебе еще раз. . .

– Она сказала, в одиннадцать?

– Да. Неподходящее время.

– Почему это?

– Не знаю, почему, неподходящее, и все, задницей чувствую. – Тот, другой, смотрел на него с усмешкой. – Позвони ей я скажи, что всё – о'кей.

– Все вы повернутые, и арабы, и. . .

И тут он понял. *Они слишком много знали, оба. Ленни и девчонка.*

Он умолк. Анжи надел свою шляпу. Даже этот обычный жест показался Ленни каким-то особенно зловещим.

– Ну что, Ленни, порядок?

– Да.

– Она права: она ничего не может сказать полиции. Из-за отца, ты понимаешь. Такие вещи, это святое. Память. У меня тоже отец погиб, я-то понимаю.

Культ предков. У них в Алжире это чтят.

– Это ты его убил?

– Моего отца?

Он хотел сказать: «Нет, ее», но это уже было ни к чему. Главное, что его убили. А он сам знал об этом предостаточно.

– К тому же, Ленни, мы предпримем небольшую предосторожность. У меня миллион долларов со страху загибается по ту сторону границы. А миллионы, у них, знаешь, слабое сердце. Нужно переправить его в Швейцарию, чтобы он смог наконец вздохнуть свободно. Я уже на две недели задержался. Это совсем не на пользу моей репутации.

– А потом?

– Что – потом?

– Нам заплатят, ей и мне?

Ангел как будто даже удивился.

– Конечно.

– Что, серьезно?

Ходячая помойка засомневался. Не нужно думать, что помойка – это что-то совершенное. Такого он не ожидал.

– Ты простопустишь нас обоих в расход, вот и все.

– Зачем я стану это делать, Ленни?

– Я понял это по тому, как ты надел свою шляпу.

Анжи обернулся к греческой судьбе. Какой фиг называться мистером Джонсом, если ты – грек. Кого он хотел обмануть?

– Он понял это по тому, как я надел шляпу.

Судьба рассмеялся в ответ. Это было ужасно. Судьба же никогда не смеется. Или нет, она смеется все время, черт, откуда мне знать.

Анжи смотрел на него с серьезным видом. Кодекс чести. У гангстеров он есть.

– Ничего не могу обещать тебе, Ленни. Но ты – славный малый. Посмотрим, что можно будет сделать для тебя. . . после.

Греческая судьба заржал: «Ха-ха-ха-ха», и тут же завоняло дерьмом и гнилью, с каждым его «ха» – все сильнее, не хватало разве что сыночка, который, отправив к праотцам своих родителей, выкалывает себе глаза.

Они точно их прирежут, обоих, вместе, это всегда хорошо кончается, как в кино. Впервые за долгое время что-то действительно складывалось удачно. Вместе. Даже забавно: она вообразила, что может так легко избавиться от него. Посмотрим, как у нее это получится, кинуть его, там, наверху, где нет ничего, кроме, пожалуй, трубы Чарли Паркера.

И все же он сказал, пожав плечами:

– Она думает, что это ты убрал ее отца.

– Шутишь?

Он, казалось, нисколько не удивился. Что с него взять, с помойки?

– Я не убиваю всех подряд, Ленни. Она что, за Наполеона меня держит?

Ленни был поражен, он и не подозревал, что Анжи знает, кто такой Наполеон.

– Ну, если она подставит тебя, потом не говори, что это я виноват.

– Я вам вообще ничего не скажу. Можешь на меня положиться.

– Обещаешь?

Анжи смотрел на него почти с любопытством:

– Ты какой-то не такой, как все америкашки. Сложный слишком. Обещаю, Ленни. Иди.

Греческая судьба помалкивал. Он был здесь, и этого было уже более чем достаточно. Он вышел оттуда, насвистывая. Наконец-то замаячила Внешняя Монголия, и даже что-то еще дальше.

Он позвонил ей ровно в одиннадцать.

Ее позвали в кабинку, да, Джесс, они согласны, сегодня, в два часа пополудни, в шести километрах от французской границы, там есть амбар, да, тот, что с вывеской «Чинзано», ты поняла, где это?

Поняла.

Ровно в два.

Буду.

Она вернулась в бар, заплатила по счету; какой-то друг отца, которого она не знала, со светло-голубыми полинявшими глазами безнадежного алкоголика, подошел к ней выразить свои глубочайшие соболезнования, со стаканом мартини в руке.

– . . . такой выдающийся человек. Я потерял очень дорогого друга.

Она взглянула на его мартини:

– Да, понимаю, это как если бы он вернулся к Анонимным алкоголикам.

Он, очевидно, оскорбившись, отвалил к своему столику. Одиннадцать десять. Она сгорала от нетерпения. Она чувствовала себя точно как Эйзенхауэр в самый важный день его жизни, разве что дождя не было.

В два часа дня она ждала в своем «триумфе» под вывеской «Чинзано». Стояла прекрасная погода. Развалюха-амбар лежал в руинах в двухстах метрах от дороги. Она поставила «Мессию» Генделя, этот небесный хор как нельзя лучше подходил для того, чтобы приветствовать прибытие огромной кучи денег: небу тоже не была чужда красота. В зеркале заднего вида она заметила зеленый «бьюик», который медленно катил по земле, за рулем был какой-то черный ворон, похожий на детскую игрушку на палочке. Ленни сидел сзади с одним из тех типов, которые выглядят будьте-нате, словом, подходящая упаковка для чего угодно, на выбор – от героина до пулемета. Не то чтобы она боялась, но ей показалось, что в небесном хоре «Мессии» зазвучала паника. Она взяла помаду и стала красить губы, глядя в зеркало заднего вида,

пока они перекладывали чемодан в багажник «триумфа». Ленни уселся на сиденье рядом с ней и сунул ей ключи.

Она нажала на газ. «Бьюик» шпарил за ними в двадцати метрах, но она рассчитывала оторваться от них на таможне.

Она стиснула зубы и не разжимала их. Очки придавали ей суровый вид. И хорошо, потому что именно этого ей и недоставало: суровости. В остальном еще куда ни шло. К сорока годам вы ее не узнаете, она превратится в цемент, пулей не пробьешь.

– Ну вот, Джесс, ты и я, миллион в багажнике, любовь и деньги, все, что надо, а?

Она с такой злостью опустила на педаль ногу, что он почувствовал, будто вместо педали было его лицо. Его пробрал смех. Это была даже не злость, а любовь. Не в сердце, но в каждой клеточке тела. Сто тридцать. Сто пятьдесят. Она сейчас разнесет в пух всю их таможню.

– Очень мило, Джесс. Я знаю, что ты чувствуешь. Я тоже тебя люблю.

Сто шестьдесят. Деревья пролетали у них над головами.

– Ну, Джесс, прощай. Не поминай лихом. Надо мне было лыжи захватить. Прямо сердце кровью обливается, как подумаю, что они останутся одни на белом свете.

– Где я получу деньги?

– Если ты не сбавишь газ, Джесс, ты ни шиша не получишь, говорю тебе. Хотя, может, Боженька и вернет тебе их там, на небе, у него, небось, этого добра навалом.

– Мои шесть тысяч долларов, Ленни!

– В Женеве.

Он уже начал расстраиваться. Она в самом деле думала о барышах. Теперь он даже не был уверен, что она выложит все на таможне, как он надеялся, вот была бы потеха. А как же ее отец? То есть я хочу сказать, что если она правда верила, что это они убили ее отца. . . Он почувствовал, как на лбу у него проступил холодный пот, и испуганно взглянул на нее. Бог мой, Франкенштейн. Это же невозможно. Она не такая! Она хорошая, конечно же, она их сдаст. Это – месть, зуб за зуб, и все такое. Потому что если она делала это из-за денег, так какого черта он полезет в петлю вместе с ней. Он обернулся. «Бьюик» уже скрылся из виду. Господи Боже, а если это как раз и есть греческая судьба? Если ничего не происходит, получаешь свои бабки и живешь себе дальше? Если это оно самое, настоящее, греческое, настоящая мерзость, а не просто когда переспшишь со своей матерью, которая затем выцарапает тебе глаза?

– Джесс, я. . .

– Ты завязал, да?

И что это еще за музыка такая дурацкая? Слет ангелов, не иначе. А что, если все это лишь из-за денег? А не ради того, чтобы умереть вместе на ста шестидесяти в час?

Она тормозила. Сто десять. Восемьдесят. Все хорошее когда-нибудь кончается. Она не была сентиментальна, вот что.

Граница.

За каждое изъятие золота и валюты таможня возвращала десять процентов в качестве компенсации.

«Триумф» остановился.

Он закрыл глаза. Любит. Не любит. Он улыбался. Сейчас и посмотрим. Орел или решка.

– Выйдите, пожалуйста.

Он услышал, как сухо щелкнул ее голос:

– Вы что, не видите номера? «Консульский корпус».

– Сожалею, мадемуазель. Обратитесь к главному инспектору.

Она вышла. Нет, это невозможно, они не имели права обыскивать ее машину. Когда она вошла в помещение таможенного поста, какой-то человек поднялся и направился к ней. На столе у него стоял букетик сирени, и в этой цементной коробке с железными ящиками лишь эти цветы казались единственными нарушителями границы.

– Добрый день, мадемуазель Донахью. Не знаю, помните ли вы меня. . .

Она присмотрелась: один из тех французов, какие нравятся шлюхам. Жирный кусочек, цветущее лицо. Маленькие усики и большая лысина.

– Нет.

– Я был там в тот вечер, когда вашего отца. . . Конечно, вы ничего не видели. . .

– Конечно.

– Я должен сказать вам нечто очень важное и несколько. . . неприятное. Присаживайтесь, прошу вас.

– У меня нет привычки падать в обморок.

Он разыгрывал неловкость, чтобы показать, что у него тоже есть чувства.

– Не знаю, как вам это сказать. . .

– Покороче, инспектор. Я тороплюсь.

– Видите ли, в какой-то мере и я несу ответственность за смерть вашего отца. Мы знали, что у него были большие проблемы с деньгами, по причине его. . . его состояния здоровья. . . э, гм. . . долги. Он только что потерял свой государственный пост. Короче, мое начальство снабдило меня полномочиями сделать ему кое-какие. . . предложения. Это касалось дипломатической неприкосновенности, которой он пока еще обладал. . . и мы приняли меры, чтобы сохранить ему эти номера «КК» на неопределенный промежуток времени. Вы знаете, наверное, что существует ставка в десять процентов компенсации на каждую изъятую сумму. Словом. . . он согласился нам помочь.

На какое-то мгновение она застыла в немом оцепенении, а потом расхохоталась. Инспектор, казалось, был шокирован. Отсюда было так близко до чистого и высокоморального воздуха Швейцарии, что даже французская полиция вся насквозь была им заражена. Она мельком взглянула в окно: Ленни сидел себе спокойно, подставив солнышку свою симпатичную физиономию. Он поменял мессию: вместо Генделя поставил Боба Дилана.

– Самсон Далила со своими кошечками, – сказала она.

– Что вы сказали?

– Ничего, я думала об отце. Это, конечно, были его последние слова.

– Вы хотите сказать, что он знал своих убийц? Мы в этом несколько не сомневаемся.

– . . . или, может быть, «Черные носки». Запомните это название, инспектор. Это ключ к разгадке всего дела. *Всего* дела. Это – все, что вы хотели мне сказать? Теперь я могу вернуться к любовнику и поехать на танцы?

Наверное, он подумал, что она тронулась умом. Да к тому же студентка. . .

– Извините, инспектор. . .

А! Ну вот, уже лучше.

– Да, я понимаю, такое потрясение. . .

– . . . извините, я наглоталась колес. Тройная доза с утра. Университет, чего вы хотите. . . Значит, мой отец, в каком-то смысле, занимался контрабандой золота для таможи?

У инспектора на лице было написано: «Кто их разберет, эту молодежь, ни черта не понимаю». Потому что все остальное он давно уже просек. Одна молодежь не поддавалась пониманию.

– Вот уже несколько месяцев мы пытаемся накрыть организацию, занимающуюся перевозкой золота и валюты. Миллиарды бегут от политической нестабильности и революций,

оседа в Швейцарии. Дипломаты часто соприкасаются с этими бандами. О трудностях, которые преследовали вашего отца, многим было известно, и, естественно, ему делали немало предложений. Он всегда отказывался. Это был человек чести. Мы настоятельно посоветовали ему согласиться и. . .

– И сделаться наводчиком. Человек чести, лучшего для этой роли не найдешь. Они – как раз то, что надо.

Теперь он взглянул на нее с неприязнью:

– Я не ожидал от вас такого тона, мадемуазель.

– Извините мне мой американский акцент, инспектор, только плевать я на вас хотела.

Это было для него так неожиданно, что сначала он вовсе не отреагировал. А потом его голова превратилась прямо-таки в улей, в который забрались осы, и весь этот ад искрами сыпался у него из глаз.

– Мадемуазель, если бы не ваша глубокая нервная депрессия, я. . .

– Вы?

– Ваш отец был взрослый человек. Он сам знал, что делает. За изъятие в пятьсот тысяч долларов ему полагалось пятьдесят.

*«Я пошел на унижение. Решил сделаться богатым до безобразия. Да, унижительно. Но кто я такой, чтобы отказываться замараться?»* И, с его обостренным чувством практичности, он в конце концов нарвался. Тем хуже для него. Единственное, что сейчас имело значение, это деньги. Нужно было доставить их тем, кто сумеет правильно ими распорядиться, чтобы убрать нас. Да, нас.

– Так вот, он принял наше предложение и. . .

– Они это узнали и избавились от него.

– Мы не знаем, что произошло. Мы приняли все необходимые меры предосторожности. Не было почти никакого риска. Он позвонил, чтобы сообщить место сдачи, в Женеве. Мы, по согласованию со швейцарскими властями, расставили засаду. Но ваш отец так и не приехал на встречу. Точно известно, что он пересек границу на полчаса раньше условленного и затем вернулся обратно. Вероятно, они успели все переиграть. Может быть, в последний момент они узнали, что он работает на нас. Они отменили сделку и прикончили его. Или же они назначили ему встречу для отвода глаз, перехватили по дороге и выгрузили деньги. Но это маловероятно: они не стали бы переворачивать ваш дом. В любом случае, речь идет о настоящей организации. Действуют быстро и эффективно.

Она взглянула в окно. Он все так же спокойно сидел в расслабленной позе, закрыв глаза и подставив лицо солнцу. Юноши Боттичелли. Что-то от Святого Себастьяна. Все это как-то не вязалось с револьвером у него в кармане. Такая нега во всем теле, он не стал бы никого убивать, ему просто было бы лень. Скорее всего, они собирались убрать их обоих, после того как получат свое. Они не могли оставить их в живых: они оба слишком много знали. Она вдруг почувствовала прилив воодушевления, почти торжества. Они имели дело с убийцами, но то были профессионалы. А профессионалы не слишком озабочены любителями. Не беспокойся, Ленни. Mamochka все сделает.

– Все это, конечно, очень впечатляет, – сказала она.

Инспектор был почти в нокауте. Эти люди страх как боятся цинизма. Очень высокое нравственное самосознание, понимаете, иначе они не служили бы в полиции.

– Есть и еще кое-что, мадемуазель, – сухо сказал он.

– Да?

На этот раз она уже начала волноваться. Не за себя. За золото в багажнике ее «триумфа». Это золото предназначалось для большого хорошего дела. Вот что было ей дорого.

– Честно говоря, мы немного волнуемся за вас. Они не стали бы в такой спешке переворачивать дом, если бы точно знали, где находится... «товар»...

Они вообще ничего не переворачивали, старина. Мы сами устроили эту маленькую постановку. Чтобы спасти честь...

– Кажется, они поддались панике, узнав, что ваш отец их подстав... То есть я хочу сказать, что он был на стороне закона. И это наводит на мысль, что товар все еще находится по эту сторону границы. Нам хотелось бы получить ваше разрешение на обыск дома.

«Товар», господа, в моей машине, там, в багажнике. Ну что ж, пожалуйста, обыскивайте.

– Пожалуйста, обыскивайте.

– Они могут вернуться. Они могут подумать, что отец поставил вас в известность. Если кто-нибудь попытается с вами связаться, по телефону или как-то иначе... Вот моя визитка. Не сомневайтесь, сразу звоните мне.

– Вижу, вы тут, в полиции, горой за семью.

Немой вопрос, некоторое недоверие в глазах. Теплый такой взгляд размороженного таракана. Кровь Средиземноморья.

– Да, вы уже отправили на тот свет отца, теперь принялись за дочь. До свидания, инспектор. Не беспокойтесь, все там будем.

Она вернулась к «триумфу», села за руль и какое-то время сидела неподвижно, раздавленная грузом *всего*, пытаясь лишь продержаться и выжить. Ну же, дурочка, смелее, это всего лишь конец света, такое случается на каждом шагу. Аллан Донахью, наводчик и провокатор. И все это для того, чтобы заслужить уважение дочери и сделаться серьезным человеком в ее глазах. Последний южанин-аристократ, признавший наконец, что наше время – это деньги. В каком-то смысле, он посмотрел в лицо реальности, но, затаив в душе злобу, о которой она никогда не подозревала и которая все же сидела в нем, всегда, от первого стеклянного колпака до последнего, от одного дипломатического поста к другому, до самопожирющего скорпионова алкоголизма... *и еще это*. Она так никогда и не узнала его по-настоящему. Не успела. Она думала лишь о себе.

Да что с ней такое, Господи Боже? Вся расклеилась. Он думал, что таможенники станут осматривать машину, но нет, здесь было что-то другое.

– Джесс.

– Помолчи, Ленни.

Она посмотрела на него. На ней были очки. Это значило, что ей совершенно плевать. Потому что раньше она всегда их для меня снимала.

– Хочешь сделать мне приятное, Ленни?

Он ждал. Какая-нибудь очередная глупость.

– Убери свою дурацкую улыбку.

– Не могу, Джесс. Она прилипла. Честное слово. Это называется «паралич». Что они тебе сказали?

– Выразили свои соболезнования. По поводу папы.

Наконец она тронулась с места. Швейцарские таможенники даже не взглянули в их сторону.

– «Бьюик» проехал?

– Нет.

– Смотри-ка, какие-чудеса! Опять полное доверие, ну надо же.

Он уже начал беспокоиться. У нее был надломленный голос. Там, внутри, ее всю трясло. Камня на камне не осталось.

Опять сто двадцать. Сто пятьдесят. Прекрасно. Еще есть шансы остаться вместе.

– Джесс.

– Заткни пасть, Ленни. Сейчас не время. Я заживо похоронена под обломками. Поставь «Мессию».

Он поставил пластинку. Хор ангелов. Да, правильно. Отправляемся прямо на небо на скорости сто шестьдесят в час.

– Аллилуйя! Золото едет! Сколько там?

– Там пусто, Джесс. В чемодане ничего нет. Они не сумасшедшие.

Она дала по тормозам. Мессия сломал себе шею. У нее вспотели ладони. Он сказал ей как раз вовремя: еще триста метров, и все пропало бы. Она остановилась.

– Это еще что за истории?

Он смеялся. Казалось, он был счастлив, как будто она только что доказала ему что-то. И эти веснушки на носу. Можно быть последней сволочью и все-таки сверкать веснушками.

– Они не дураки, Джесс. Они хотели проверить.

– Проверить? Проверить что?

– Что ты нас не сдашь. Меня и мессию. . . Бабки, я хочу сказать. Вот они и решили сделать один холостой проезд. Чтобы посмотреть.

– Ну, ты посмотрел?

– Да, Джесс. Ты меня любишь, безумно. Ты смотри. . . Сразу драться. Тебе бы любить меня немного меньше. Тогда у меня был бы шанс свалить.

Она смотрела прямо перед собой. Сердце щемило, но совсем немножко. Изысканные переживания. Революционерка фигова. Но он обезоруживал, и сам был безоружен. . . совершенно. . . разве вот только улыбка. Что с ним станет без меня? Она спохватилась. Теперь уже речь не шла ни о ней, ни вообще о ком бы то ни было. Теперь речь шла о деньгах. Миллион долларов, который следовало передать тем, кому, может быть, удастся *нас* уничтожить.

– Так. И что теперь?

– Все сначала. На этот раз без дураков.

Она медленно вернулась и пересекла границу. Нет, я все-таки мразь, и идеализм здесь ни при чем. Угрызения совести, эти вечные угрызения. Аллан, должно быть, ошибся. Мы не католики. Нет, конечно же, мы протестанты.

«Бьюик» стоял у «Чинзано», но теперь все они стояли рядом, и еще прибавился кто-то третий, или четвертый, если считать вместе с Ленни; он стоял спиной к амбару. Чтобы у бронированного шкафа было такое лицо? Нет, она явно недооценила возможности природы. Невероятно. Она закурила сигарету и, язвительно улыбаясь, стала его разглядывать, пока они набивали чемодан. Парню, верно, надоел этот насмешливый взгляд, он привык к тому, что люди вообще стараются на него не смотреть.

– Что, понравился? – спросил он, подходя к ней.

– Еще как. Я уже рада, что не беременна.

– По морде захотелось?

– Что за выражения?

– Ах ты, ш. . .

Ангел крикнул что-то по-арабски. Смазливый блондинчик знает арабский? Вот это фокус. Для нациста – слишком мал. Должно быть, по учебникам выучился.

Ленни вскочил на сиденье рядом с ней.

– Они сказали, чтобы ты вела медленно. Им нужно время, чтобы уладить все формальности на границе.

Она дала по газам, шины взвизгнули. Он сидел рядом. Совершенно разбитый.

– Боже мой, что я здесь делаю? Какого черта я вообще в это ввязался? Джесс, ты можешь мне сказать, что я тут забыл?

– Любовь, Ленни.

– Да мне сто лет она не нужна, любовь эта! Я ничего не просил! Оно само свалилось – бац! – прямо на нос.

– Отлично, Ленни. Настоящий поэт.

– Помнишь тот первый раз, тогда, у тебя дома? Я ведь даже не хотел спать с тобой, сразу почувствовал, что здесь все заминировано. Совсем как Таос.

– Лаос.

– Черт. Стоило мне тебя увидеть, и я сразу понял, что по моему гороскопу – это каюк. Мадагаскар!

– Что за бред?

– Мой гороскоп, вот что. По моему гороскопу нет ничего опаснее Мадагаскара. Настоящее стихийное бедствие. Мне сказали: «Ленни, чтобы ноги твоей не было на Мадагаскаре!» Но так как я и понятия не имел, где это, я оказался там, сам того не зная. Я люблю тебя, Джесс. Полная хана.

Он ее обезоруживал. Секунду или вечность она колебалась. Он ничего не подозревал, наивный. Такое впечатление, будто ведешь молодого бычка, красивого как Бог, на бойню.

Сто пятьдесят.

– Черт возьми, Джесс, осторожно, у нас миллион долларов в тачке, растрясешь!

Она в самом деле чуть не впилилась в дерево. Сейчас и правда было не до шуток.

– Ленни, я тебе уже сто раз говорила, возвращайся в Америку. Тебя там явно не хватает, для полноты картины.

– Я уже больше не хотел в это ввязываться. Поэтому и смотал тогда, с утра пораньше. Но они уже поджидали меня на выходе со своим товаром, и они мне сказали. . . Короче, ты понимаешь. Ты же видела этого парня. Я сел на чемодан и стал дожидаться тебя. Я три раза пытался удрать. Бесполезно. Настоящий греческий фокус.

– Какой еще греческий фокус?

– Судьба. Даже не знаю, с рождения у него такая рожа, или это война, или еще что. Но для греческой судьбы лучше и не придумаешь. Только вот греческим здесь и не пахло, в нем скорее что-то американское или немецкое.

– Да о чем вообще речь?

Он совсем потерял голову. Даже его зеленые глаза побледнели. И тут он как завопит:

– Я хочу знать, что я здесь делаю, сто пятьдесят в час, влюблен в камень, с миллионом долларов и с греком на хвосте? Вот что я хочу знать. Они же убивают нас, Джесс!

– Ты боишься смерти?

– Я не боюсь смерти, но на кой ляд она мне сдалась? Я просто хочу понять! Понять, поняла? Понять хоть что-нибудь! Неважно, что, главное, чтобы этому действительно можно было верить! Говорю тебе, это он все устроил, он сам состряпал мой гороскоп, эта сволочь!

– Да кто же?

– Этот Грек несчастья! Этот гад, это от рождения! Он берет тебя в оборот, не успеешь и носу наружу показать! Стоит только взглянуть на его рожу. Он убил отца с матерью. На хрен мне сдалась эта судьба, это не для меня!

Она стала сбрасывать скорость.

– Ты твердо убежден, что они собираются нас убить, и все-таки делаешь это?

Когда он переставал улыбаться, его лицо уже не могло ничего утаить. Но может быть, эта потрясающая ясность – не что иное, как красота?

– На земле миллионы, миллиарды мужиков, и каждый из этих идиотов может спокойно жить без тебя, Джесс, но почему не я? Что за дурь такая, почему именно Ленни? Я не могу жить без тебя. Да кто угодно на это способен, даже пятилетний ребенок справится, только не Ленни. Ты можешь это понять?

Она давилась слезами. Ей казалось, что на сердце у нее столько камней, что хватит на несколько соборов. Она сказала, еле слышно:

– Может, мы еще встретимся однажды, Ленни, кто знает.

Он обернулся. «Бьюик» шел сзади.

– Вот еще! Мы с тобой не встретимся, потому что не успеем расстаться. Они убьют нас, как убили твоего отца. На этот раз нам светит Внешняя Монголия. Зато у них там, кажется, вечные снега.

Французская граница. По тормозам.

– Что, Ленни, приуныл?

Он рассмеялся.

– Говори, не стесняйся. Я тут вспомнила отца. . . Казалось бы, куда уж дальше? Хуже, чем ему, пожалуй, и не бывает.

Перед ними было еще три машины, ожидавших своей очереди. «Бьюик» остановился в пяти метрах за ними.

– Тебе бы стоило взглянуть на своего святого, Ленни. Полегчало бы.

– Какого святого?

– Фотография. Гари Купер.

– Я ее порвал.

Это была неправда, не мог же он порвать себя самого, ребенка, которым он был десять лет назад. Мальцу и так уже досталось.

– Значит, на этот раз и правда как в той песне? Прощай, Гари Купер?

– Точно, прощай, Джесс. Это навсегда.

Две машины уже проехали. Она даже и не думала ничего говорить полицейским, эта ненормальная. Не то чтобы он сам об этом подумывал, нет, но все-таки эти их чертовы униформы, они как-то подбадривали. Они даже могли показаться красивыми. Сейчас в них было что-то, чего раньше никогда не замечалось, в этих полицейских униформах. Просто прежде вы никогда на них внимательно не смотрели. Что до ненормальной, в ней сидела смертельная решимость. Спокойная. Расслабленная. Будто и думать забыла про греческий Мадагаскар, что болтался сзади.

Третья машина тоже тронулась. Он вытер пот со лба.

– Ты никогда не говоришь с полицейскими?

– Только если мне есть что им сказать.

«Есть что им сказать», ты подумай!

– Я никогда еще не видел такой решительной девчонки, как ты, никогда!

– Это – матриархат.

– Это что еще за ерунда такая?

– Увидишь.

Ей стоило только слово им сказать, Боже мой, одно маленькое словечко! Но нет. Ничего. Обычная дурацкая улыбочка, и все. Садистка.

Постовые делали им знак проезжать.

Всё. Пропали.

Он вдруг почувствовал себя лучше. Легче. С греком не спорят. Это от рождения.

Хоть какая-то уверенность: Дезертировать невозможно. Все равно, не Вьетнам, так Мадагаскар.

Она проехала швейцарскую границу, не притормаживая, они лишь приветливо ей помахали. Интересно, за что им платят вообще?

Тут она рванула. По-настоящему. Как смерч.

«Бьюик» торчал еще на французской границе.

– Они сказали тебе ехать медленно. Ты хочешь, чтобы они нас еще немного помучили, прежде чем прикончить?

– Где место встречи?

– Позади замка.

– Правильно рассчитали. Там никогда живой души не бывает.

– Скоро будет. Даже две. Только мертвые.

Сто сорок. У них было по меньшей мере минут восемь в запасе. Она стала сбавлять скорость, боясь пропустить поворот. Так, рекламный стенд «Нестле», младенец с розовыми пухлыми щечками. Сейчас.

Сначала он подумал, что она потеряла управление. Он закричал, увидев, как на него несется дерево, заслонился руками, зажмурился, услышал удар, но «триумф» продолжал ехать дальше; он открыл глаза: велосипедная дорожка; он потянулся к рулю, но получил локтем в глаз, увидел двух солдат в швейцарской форме, успел дважды выругаться, прежде чем впилился лбом в стекло, вопя на чем свет стоит. Он услышал скрежет шин, будто им внутренности раздирали, и потом – тишина, только в мозгу у него звенел будильник, и чувствовалось, как с губ потекла струйка крови. Он попытался открыть глаза: все двоилось. Потом он увидел, что их не сто, а всего человек двенадцать, пятеро или шестеро из которых, кажется, были швейцарскими солдатами, с винтовками, Столько на руках у них были черные повязки с какими-то буквами, а на головах – береты. И еще откуда-то взялся желтый «паккард» дедовских времен, «жук», «порше»... это что еще за бардак? Он услышал, как у него за спиной сердито прогремело: «Выходи, сволочь!», и увидел, как один из черных повязок приставляет ему прямо к тылке дуло автомата. Будильник по-прежнему трезвонил у него в голове, но будить его уже не было надобности. Он поискал свою улыбку, но не нашел: верно, потерял по дороге. Сглотнул кровь, что-то теплое – это всегда придает сил – и остался сидеть как сидел, нет, ничего, все в порядке, спасибо, просто живешь всегда слишком долго, вот что. Он поискал ее глазами, в конце концов, черт возьми, это же была любовь всей его жизни, но она отвернулась. Она не хотела этого видеть. Как же его там, это слово, которое она только что говорила? Матриархат. Да, должно быть, оно самое и есть.

– Спасибо, Джесс.

Она бросила ключи какому-то бородачу. Этого я знаю. По телику. Фидель Кастро, во! Ему стало смешно.

– Выходи.

Опять этот дубина в очках со своей пушкой.

– Что такое Свинский залив?

В ответ он получил прикладом по физиономии. Как они не любят американцев, эти кубинцы. Они все обступили его, был даже один негр. Вот черт, швейцарский негр! Я и не знал, что они тоже это подхватили. Негр – в противниках, это сразу уложило его на обе лопатки. Ни на что больше нельзя рассчитывать. Еще здесь были близнецы. Сначала он подумал, что у него опять двоится в глазах, но нет, правда, близнецы, плохой знак: близнецы в Швейцарии после трех часов дня, каждый знает. Все эти кубинцы разглядывали его, и он никогда еще не

чувствовал, чтобы его так сильно любили, до такой степени, что он даже нашел свою улыбку, настоящую, циничную.

Они вытолкали его из «триумфа», подгоняя со всех сторон прикладами. Говорю же, Свинский залив. И вьетнамцы в каждом углу. С бородачом во главе. На нем была накидка типа армейской плащ-палатки, как в «Сокровище Сьерра-Мадре»<sup>1</sup> с Че Геварой в главной роли.

– Слушайте, парни, у вас тут поблизости американский флаг, случаем, не заваялся? А то мне без него никак.

Они молчали. У них по расписанию не стоял час смеха. Миллион долларов – дело нешуточное. Даже папа Римский не стал бы шутить.

Они достали чемодан и открыли его. Просто ужасно было видеть все эти деньги, от этого хотелось умереть с голоду. Золото. Доллары. Кучи, кучи денег. Это уже были не наличные, а демография какая-то. Стоило посмотреть. В книжках такого не вычитаешь. Смотри внимательно, Ленни. Потом ты в самом деле сможешь сказать, что был в Швейцарии.

– Ленни. . .

Нет, кроме шуток, она пустила слезу. Нормально. Из-за денег прослезилась. Эмоции. Как там говорил великий Зис, единственный и настоящий китаец, тот, кто все предвидел, в своих перлах? Ах да, вот:

Если хочешь мир исправить,  
Хорошо б его подплавить,  
Врезать градусов мильон,  
Славный справится бульон.

– Ленни. . .

– Да, Джесс. Спасибо, Джесс. Я тоже тебя люблю, Джесс. Только ничего не говори. Все и так очень красиво.

К ним приблизился этот дубина в очках. Подозрительный. Ревнивый. Потому что с ним у нее было что-то личное. В руке он держал термос.

– На, выпей, скотина.

– Поль, хватит уже.

Поль. На свете был лишь один настоящий Поль – это Пол Десмонд, труба Дэйва Брубeka. Это, конечно, был не Чарли Паркер, но Чарли Паркер отдал концы, героин, вы понимаете, и его труба умолкла. А без него какая тут жизнь, к черту. Когда Чарли Паркер дул в свою трубу, чувствовалось, что что-то наконец падет, что что-то наконец откроется, что что-то наконец окажется там, внутри. Он отпил глоток. Кофе.

– Что вы туда подмешали, приятели? Стрихнин?

– Шевелись.

– Это всего лишь снотворное, Ленни.

А! Всего лишь. Он выпил еще. И даже обрадовался. Анастасия. Да, это как раз то, что ему сейчас было нужно: Анастасия. Засыпаешь у нее на руках и больше ничего не чувствуешь.

– Джесс, они тебя за это убьют. Это точно, как то, что Бог существует. . . в общем, понимаешь, что я имею в виду.

– Они ничего не могут сделать. Им крышка. Поль, покажи ему фотографии.

Что ж, давайте теперь рассматривать фотографии. Это – лапа, это – мама, это – Эйфелева башня. Покажи мне свою свистульку, а я тебе – свою. Очкарик подгребает со своим семейным альбомом.

<sup>1</sup>«Сокровище Сьерра-Мадре» – фильм американского режиссера Джона Хьюстона (1947 г.).

– Еще раз меня так назовешь – и получишь пулю промеж глаз.

Вот те раз! Он даже не знал, что говорит. Анастасия начинает действовать.

Он взглянул на фотографии.

Вот черт.

Он онемел от удивления.

Ангел и Греческая Судьба у яхты. Ангел рядом с «бьюиком», вместе с Красавчиком и чемоданом. Ангел, Греческая Судьба и Красавчик в «бьюике». Ангел везде, с Ленни, без Ленни. Греческая Судьба один, крупным планом, так, что даже видны его волосатые ноздри. «Бьюик» и «триумф» перед амбаром «Чинзано», словом, весь пикник.

– Вот черт.

– В первый раз Поль находился там, в амбаре. С «Полароидом».

Вот так. Ангелу вставил в задницу. Красавчику вставил... просто, вежливо. Греческой Судьбе вставил в задницу. Кранты ему теперь, Греческой Судьбе. Всех – на Мадагаскар. Что они могли сделать? Ничего. Все здесь, голубчики. Вычислены. Сфотографированы. Подписаны.

– Ну, пей же.

Он отхлебнул еще глоток. Кофе – это хорошо для тонуса. Анастасия – еще лучше. Он взглянул на нее. Тарзан. Вот кто была эта девчонка, настоящий Тарзан, царь джунглей.

И все же она плакала, из вежливости, разумеется. Она даже не сняла для этого свои очки. Верно, чтобы он не заметил, что она плачет.

– Ты – Тарзан, а я – Джейн.

– О, Ленни...

Ну, нет. Это было слишком просто. Сначала заводят, затем ломают, пускают кровь, напускают Анастасию, а потом говорят: «О, Ленни...», со слезами на глазах. Чертов Матриархат. Нет, погоди.

– Я хочу тебе сказать кое-что, Джесс. Я никогда еще не трахал девчонки, которая трахается лучше, чем ты. Понимаешь?

Удар прикладом в физиономию, еще один. Он их не украл, ему их дали. Приехали: Ленни внизу, на земле, ноль метров над уровнем того самого. Он свалился. Голова трещала – настоящий Таос, но зато полезно для его отчуждения. Он почувствовал руки на своем лице, а потом – как он лежит на спине, а голова – у нее на коленях. Ее колени. Она обнимала его. Он не мог защищаться.

– Прощай, Ленни.

Слезы капали ему на лицо. Что, у нее их целый бидон, что ли? Невероятно. Эта мысль вертелась у него в голове. Он все падал, падал. Что здесь делает этот пудель? Эти мерзавцы, они умели дать вам почувствовать, что вы не собака. Ну что, оно уже близко, да? Небо-то? Голубое ведь, подлюга. Плевало оно на всех. Там, наверное, куча греков набилась. Мистер Джонс, никто и не думает спать со своей матерью, хватит того, что она у тебя есть, чтобы ее еще и иметь... Матриархат. Анастасия нагоняла уже вскачь. Он вытаращил глаза, пытаюсь высмотреть там, наверху, кого-нибудь или что-нибудь; но нет, ничего, одна синь, ни следа Гари Купера, то есть того, настоящего...

– Когда ты кончишь играть в «Снятие с Креста», Джесс. Пора линять.

Она вложила две фотографии в руку Ленни. На одной она нацарапала: «Вы найдете еще десяток ваших фотографий на яхте», подпись: «Комитет действия. Джесс Донахью».

Они уже запикивали добычу в «паккард» братьев Дженнаро, Она села в «порше», за ней – Карл Бём, Жан и Чак. Поль сел за руль.

– Секунду,

Она вышла, достала из чемодана десять банкнот по тысяче долларов и сунула их в карман Ленни. Подождала, пока они снимут форму и спрячут винтовки. Такое, уж точно, случилось впервые: чтобы личное оружие, которое каждый юный швейцарец, отслужив в армии, хранил при себе, применялось для борьбы с капиталом. . . Винтовки, наверное, сгорали со стыда, им никогда уже не стать прежними. Жан разглядывал его, куря сигарету.

– Вам бы нужно вернуться в Америку, обоим.

– Спасибо. Это то, что называешь «есть еще социальное предназначение», полагаю. Или это из-за миллиона, который я нашла для Комитета действия?

– Ты никогда ничего не забываешь, Джесс. . . В конце концов, ты его любишь или нет?

– Я и своего отца тоже любила. Я не хочу играть в дочку-матери. Я вовсе не собираюсь превратиться в мужественную женщину. Да, я его люблю. И это значит лишь одно: я не желаю больше ничего слышать о любви. Я также отказываюсь иметь дело со своим «Я». Ему, этому «Я», уже надоело. Я оставляю царство «Я». Хватит роскошных хором и принцесс, мечтающих о внешнем мире. Хватит этого сволочного царства. Там все провоняло.

– Мои родители тебя давно ждут. Тебе там будет хорошо.

– Недели две, не больше.

– А потом?

– Берлин. Я знаю одного парня, из социалистов. Поеду с Карлом Бёмом. Если все устроится, останусь в Германии.

– Точно. У них самый высокий уровень жизни в мире, уже не знают, куда деваться, бедные. На вот, возьми.

Он сунул пачку банкнот в карман ее пиджака.

– Потом все с Карлом подсчитаете. Твои расходы.

Она открыла дверцу «триумфа».

– *О'кей!*

– Нет, Джесс, поезжай с ними. Так безопаснее. Не забывай, они ведь еще не видели фотографий.

– Оставь «триумф» у «Атлантического кредита». Мне нужно забрать там бумаги отца.

– Ну, вы едете, черт бы вас побрал?! – заорал Поль.

Она села в «порше». Карл Бём чем-то смахивал на Радека, который в 1930-м пустил знаменитый революционный лозунг цели, которая оправдывает средства: «У хорошей хозяйки все должно идти в дело, даже помой». Правда, Сталин его все равно расстрелял, наверное, ему не нужен был лишний мусор, ему хватало себя самого.

«Порше» выехал на дорогу. Накидка цвета хаки, жиденькие волосики, едва прикрывающие будущую лысину, золотисто-русовая борода и очки в металлической оправе – Карл Бём имел ту «неизменно яркую» внешность интеллектуалов, которые обладают огромным, правда чисто теоретическим, опытом в реальности.

– Кто будет распределять? – спросил Поль.

– Координационный комитет. Приоритет отдается немецким студентам. Они самые зрелые.

– То есть они созрели для сбора урожая? Какая у них тенденция в настоящий момент? Пекин?

– Нет, никакой преимущественной тенденции.

– Что ж, многообещающие планы, в смысле распределения.

– Мы все высказались за эту программу действий.

– А что потом?

– «Потом» – это метафизика.

– Я абонировал три сейфа в разных банках, – сказал Поль.

– Я не хочу хранить это в Швейцарии.  
 – Глупо. Стоит хорошо вложить этот миллион, и через год вы удвоите сумму.  
 – Ты предлагаешь нам переквалифицироваться? Вперед, к капитализму?  
 – Ну и что? В Китае ведь делают так, и в Ватикане тоже, и на Кубе, и в СССР... Могу порекомендовать тебе отличного эксперта в этих делах.

- Твоего отца?
- Идиот.
- Потом посмотрим.

Они высадили ее у «Атлантического кредита». Жан с «триумфом» уже был на месте. Она взяла ключи.

- Увидимся у твоих родителей. Пока.
- Никаких «пока». Я подожду тебя здесь. С этими скотами никогда не знаешь, чего ждать.
- О да, они украдут меня среди бела дня.
- Кто знает.

Она предъявила на контроле извещение, получила запечатанный конверт на свое имя вместе с ключом и спустилась в подземный отдел сейфов, где царил затхлый атмосфера легкой на дно подлодки и небывалая тишина: молчание настоящего доверия. Самая древняя мечта человека: защищенность. Электрический свет отражался в гладкой стали брони, еще чуть-чуть – и стал бы слышен глухой стук сердец. Инфарктники и слабонервные всегда просили их сопровождать. В огромных сейфах, похожих на реакторы, хранились миллиарды в шедеврах живописи, которые больше не видели белого света. Обильный урожай диктатур, монархий и революций. Самые красивые, самые знаменитые драгоценности Истории: те, что принадлежали Прекрасной Елене, Анне Болейн, Изабелле Кастильской, сокровища всех королей и императоров, золото тиранов и будущих освобожденных держав, братский союз, объединивший Мао и Трухильо, Политбюро СССР и ЦРУ, гангстеров и разведслужбы, мафию, героин и напалм, классовую борьбу и буржуазию. Она входила сюда впервые и невольно уже стала искать глазами Тутанхамона. Они ведь могли подкинуть сюда и парочку саркофагов, мумию какую-нибудь, Навуходносора или Ашшурбанипала. Она поймала себя на том, что затаила дыхание и ступает на цыпочках. Как бы там ни было, Вечное они чтит все.

Она нашла нужный сейф и открыла его.

Она не сразу поняла, в чем дело. Сначала решила, что ошиблась ящиком, но это было полной нелепостью.

Там находилось порядочное количество золотых слитков и пачек долларов, которое навскидку не уступало тому, что десант «Красной кнопки» обнаружил в пресловутом чемодане.

Она смотрела на эти сокровища не отрываясь. Это был сейф ее отца. Он...

Она прислонилась к холодной стали, закрыла глаза и какое-то время стояла так, неподвижно. Потом кровь снова побежала к сердцу.

Он умыкнул это богатство у контрабандистов и у таможенников, это были пропавшие деньги, те, которые «так никуда и не прибыли», как сказал ей инспектор. Он прокатил и контрабандистов, и полицию. Ценой собственной жизни.

У нее подкашивались ноги, ей хотелось присесть, но она не осмеливалась закрыть сейф. Она боялась, что ей не достанет сил вновь его открыть или что там уже ничего не будет, магия перестанет действовать.

Она заметила документы и белый конверт, подпертый слитком золота. Она взяла его: «Джесс. На случай моей смерти». Открыла.

*Дорогая моя девочка, здесь все твоё. Было бы слишком долго все тебе объяснять, и они, наверное, уже ищут меня повсюду. К черту мою жизнь, к черту воспоминания, к черту*

*этого Пьеро, мечтающего при луне, Аллана Донахью. Я не собираюсь провести оставшиеся мне несколько лет у Анонимных алкоголиков. Если тебе скажут, что твой отец «работал» на контрабандистов или на полицию, можешь улыбнуться в ответ. Я любил тебя так, как ни один отец не любил еще свою дочь. Есть внутренние проблемы, которые нельзя решить достойно. Но мне, как видишь, удалось решить некоторые. . . внешние. Материальные. Думаю, мне за многое надо расплатиться. Честность? Человек не может быть честным ни перед собой, ни перед другими. Ты сама это говорила: одних сволочей сменяют другие, и все революции в истории, все без исключения, всегда находят своих сволочей, и без особого затруднения. Если хочешь сделать меня счастливым – или, по крайней мере, отмщенным – возьми эти деньги себе. И пусть это не помешает тебе оставить фотографию Че Гевары у себя на столике. Придет день, и ты сделаешь свой выбор. Пока подожди выбирать, еще рано, не в двадцать лет. Когда тебе двадцать, человек не выбирает, потому что все идеи еще новы и сильны. Ты видишь только правду, ты не замечаешь, что в ней ничего нет, кроме красоты. Знаю, знаю: осенние листья. . . Но во мне говорит вовсе не «опытность», и не «зрелость», во мне говорит любовь. Оставь эти деньги. Иначе мне нечем будет жить в чистилище. Я люблю тебя, Джесс. Я всегда тебя любил. Надеюсь, что при этих словах у тебя под ногами не развернется пропасть, потому что то была настоящая любовь, а настоящая любовь, какой бы она ни была, всегда остается чистой. Я люблю тебя, Джесс. Это все. Прощай. Аллан.*

Она не заплакала. Она не могла даже думать. Она была вне эмоций, вне мысли. За нее говорили ее кровь и плоть. Она подчинялась. Другая рука, другая сила, другое мужество, исходившее от мужчины, от ее отца, действовали вместо нее. Так распорядилась судьба. Она стала закрывать сейф, но снова его открыла, взяла десять тысячедолларовых купюр и оставила письмо внутри. Затем не спеша закрыла сейф. Она вернулась на контроль, сняла сейф поменьше и положила туда ключ от первого. От этого она потребовала три ключа. Один она взяла себе, другой оставила в банке на свое имя, третий решила отослать в «Отель Гритти», в Венецию, также на свое имя. Она отдала на контроле два конверта: один – сохранить, другой – отправить. И вышла.

Жан стоял на том же месте, перед «триумфом».

- Вот тебе и «пять минут». . . Что-то важное?
- Нет, ничего. Личные бумаги.
- У тебя расстроенный вид.
- Да? Интересно, с чего бы это.
- Что с тобой, Джесс? Ты будто сердисься на меня?

Она избегала его взгляда. «Есть еще. . . социальное предназначение». Сколько раз он ей это повторял? Так, ну и что? Только что с ней говорил голос, доносившийся из глубины этого вавилонского склепа, набитого всякими Тутанк-Мамонами. Человек, настоящий, настоящая любовь человека. . . Ну-ка, идите все сюда. Я припасла целое состояние для ваших Комитетов действия. Действуйте же. Разбейте всех, и меня в том числе. Но вы – чистюли. Вам не справиться без парочки последних мерзавцев. Двадцать миллионов, не считая тех, что погибли на войне, при Сталине. Вас раздавит какой-нибудь новый Будапешт. Че Гевара – конечно – тоже чистенький. Сколько времени он себе отсчитал на то, чтобы его расстреляли?

- Джесс, да где ты витаешь, в конце концов?
- Не знаю, Жан. Но я – там, и хочу там оставаться.

Она помедлила, потом сказала:

- Мне нужно кое-что купить. Ты не мог бы взять такси?
- Говорю тебе, сейчас опасно разъезжать одной.

– Не опаснее, чем все остальное, Жан. Ты знаешь, каждому – свое. – Она посмотрела на него с неприязнью. – Свое. . . *социальное* предназначение.

– Беру свои слова обратно. Я плохо о тебе подумал. Устойчивое представление об американках. Приношу свои извинения. Знаешь, когда ты упускаешь женщину. . .

Она поцеловала его.

– Ты прекрасно меня понял. С самого начала. Однажды ты станешь известным писателем.

– Черт возьми, это что еще такое, – настоящее прощание? Джесс, только без глупостей.

– Я тебе позвоню. Ах да, забыла. . .

Она достала из кармана десять тысяч долларов, которые он ей положил.

– Возьми.

– Но у тебя же нет ни гроша.

– В сейфе было немного денег. Отец оставил мне, на черный день. Отдай их Карлу. Мне они не нужны. Чао.

Она села в «триумф» и уехала.

Когда он открыл глаза, она вела машину.

Увидев ее рядом, за рулем, он испустил страшный вопль, но потом успокоился; это ведь был не матриархат, а простой кошмар. Уф! Ох хотел проснуться, открыть глаза, но глаза его были уже открыты: это не сон. Он трижды выругался, как делают в церкви, чтобы оградить себя от нечистой силы; тут его прошиб холодный пот, и он заорал, что, дескать, остановите, я уже приехал, спасибо, что подвезли, но она взяла его за руку, он хотел выпрыгнуть на ходу, но не мог даже шевельнуться, она связала ему ноги? Ах, нет, это всего лишь остатки Анастасии.

– Я люблю тебя, Ленни.

Он быстро затараторил:

– Я тоже люблю тебя, Джесси, я никогда еще никого и ничто так не любил, клянусь тебе.

Он так ее боялся, что это выскочило само собой и даже вполне искренно, нет ничего более правдивого, чем страх. Он в самом деле вложил туда все, что у него было. Черт, это правда шло от самого сердца. Он даже счел нелишним добавить; «Я буду любить тебя всю свою жизнь», и тут же подумал, что переборщил, но нет, это же вполне искренно, да, так искренно, что он еще больше испугался. Черт возьми, а может, это правда?

– Я знаю, Ленни.

Уф. Главное, ей не перечить. Вот тебе и любовь. Он вытер с лица запекшуюся кровь. Любовь. Как подумаю, что мог бы сейчас сидеть себе спокойно во Вьетнаме. . . А все из-за этого повернутого Буга с его гороскопом. Одни неприятности! Нет, в следующий раз, если кто предложит составить мне гороскоп, плюну в рожу. Вся эта дурь, от нее одни несчастья.

Он огляделся – ничего, темень. А пахло хорошо, мимозой.

– Я правда думал, что у нас с тобой все кончено, Джесс, – сказал он, вздохнув, и тут же готов был язык себе откусить, да поздно, вылетело, не поймаешь; черт, разве такое говорят девушке, это даже невежливо. Он взглянул на нее, украдкой: но нет, ничего она, наверное, не поняла.

– Я хочу сказать. . .

– Я знаю, Ленни. Я тоже думала, что все кончено. Но появилась судьба.

Он глянул через плечо: нет никакого «бьюика». И потом, с этими фотографиями, что она могла им сделать, судьба?

– Мы наконец-то свободны, Ленни.

Свободны, вы только послушайте. Да она даже не знала, о чем говорит. То тебе любовь, и тут же – свобода. Кто когда видел их вместе? Нет, надо выбирать. Я-то давным-давно уже выбрал. Я выбрал любовь, честное слово, Джесс. . . Надо было соблюдать осторожность, даже в мыслях. У них сейчас такие средства, упасть и не встать! Электроника. Слышат буквально всё.

– Что произошло, Джесс?

– Я вернулась за тобой.

Спасибо.

– Где мы сейчас?

– В Италии.

Так. Теперь Италия. Что он забыл в Италии, интересно. Все, чего он хотел, это – Вьетнам. Оказаться бы где-нибудь в рисовых полях, чтобы косоглазые со всех сторон. Вот где можно спокойно отдышаться.

– Я не могу жить без тебя, Ленни.

– Забавно, я как раз собирался сказать тебе то же самое, Джесс. Честное слово.

– Ты меня любишь?

– Я люблю тебя, Джесс.

– Ты правда меня любишь?

– Я правда люблю тебя, Труды, я. . .

О, черт. . .

– Труды?

Он напряг все свое воображение с такой силой, что можно было угробить кого-нибудь.

– Я сказал – Труды?

– Ты сказал Труды. Кто это, Труды?

– Нет, правда, забавно. Труды, так звали мою мать. Ну и ну!

Уф! Он вытер со лба пот. С таким напрягом можно и шею свернуть, честное слово.

– Да, мою мать. В голове все перемешалось. Анастасия.

Она наклонилась и поцеловала его. Нежно так. Мило. Он почувствовал себя гораздо лучше. Он вновь обретал веру в свои силы. До олимпийца, конечно, далековато, но уже кое-что. Ложь, только она бывает истинной.

– Что мы будем делать в Италии, Джесс?

– Будем жить, Ленни. Наконец-то жить, как нормальные люди.

Если бы только она вела немного помедленнее, можно было бы спрыгнуть на ходу, найти добрых людей, которые спрятали бы его у себя в подвале на несколько дней. Лето скоро кончится, он опять сможет давать уроки, и Буг, их общий отец, должен был вернуться. Жить. Да еще как нормальные люди. Все с ней ясно, с этой девицей, одна из тех нормальных, что построили Америку. Ни перед чем не останавливаются.

Но ему даже прыгать не хотелось. Сердце куда-то пропало. Оно не станет биться. Ничто на свете не стоило таких усилий. Даже любовь. Оно не станет биться с любовью. На что она ему, эта любовь; только вас ведь не спрашивают, свалится тебе на шею такое сокровище, и что? Оно прет на тебя лавиной, что ты тут подделаешь? Но так даже лучше, он начинал чувствовать себя счастливым, умиротворенным, как будто в самом деле все пропало.

– Мы поженимся, Джесс?

В любом случае, всегда легче отвязаться, когда ты женат на ней. У тебя тогда появляется веская причина. Никто не станет тебя упрекать.

– Спасибо, Ленни. Но нет. Думаю, лучше немного переждать.

Переждать, как же. Да она уже высматривает, нет ли где поблизости какой свободной церквушки.

– Джесс, давай поженимся. И дотом все станет легче.

– Что значит легче?

Голос, голос его выдал. Слишком резкий. Зачем было делать себе еще одного врага из этой девчонки. Ее одной уже более чем достаточно. А то она, чего доброго, решит, что я – циник. Я – не циник. Я только не хотел бы увидеть зрелость, как те дурни, что пускают себе пулю в лоб.

– Ну, не знаю, Джесс. Потом, когда возвращаешься, смотришь на себя и говоришь, что вот, теперь я женат, уже что-то.

При этом у него почему-то задергалось лицо. Странно, ведь он даже почувствовал легкое возбуждение при этой мысли о свадьбе. Начало тянуть со всех сторон, как будто наполнясь изнутри, как палец перчатки, которую выворачивают наизнанку.

– Посмотрим, Ленни.

– Как ты захочешь, Джесс. Можно было бы даже завести детей.

Нет, он вовсе не издевался, какое там! С такими девицами, как эта, которые построили Америку и правили вами, ерундой не обойдешься, нужны сильнодействующие средства. Свадьба, для начала, три ребенка, пум-пум-пум, и всё, больше вас уже ничто не держит. Это все равно что льва проглотить. Дезертирство вам обеспечено, как пить дать. Может, еще хорошее место в придачу, какая-нибудь бензозаправка, как отбросило бы куда подальше, долго бы потом искали!

Ему хотелось вести себя с ней по-скотски, говорить ей гадости. Так у него еще никогда не было, ни с кем. Его как подменили. Ему хотелось смыться, но не хотелось оставлять ее. Он пытался замять свои дерзости. Иначе она сама могла его бросить. Настоящая стерва попалась. И строгая к тому же. Упертая. Из тех, кто идет до конца и строит Америку. Если вы думаете, что я не знаю, чего хочу, значит, вы никогда не любили женщину, которую никак не могли понять, вот и все. Она была бы прекрасной женой кому-нибудь другому. Этакая тигрица, которая ест своих малышей. То есть защищает их, я хотел сказать.

Он рассмеялся. Она тоже.

– Все будет хорошо, вот увидишь, – сказала она.

Италия.

Луна.

Матриархат. Любовь.

Черт возьми, убивают.

Она взяла его за руку. У нее было такое нежное личико. Невероятно, из чего только плавится сталь!

– Ты немного боишься, Ленни. Я знаю. Я понимаю.

Немного. С таким «немного» можно инфартук схлопотать.

– Нет, Джесс. Это другое. Я уже сам не знаю, что со мной.

– Внешняя Монголия.

Ему это очень не понравилось. Его Внешняя Монголия, она ее не касалась.

– Не понимаю.

– Внешняя Монголия, это ты и я. Наш мир. Это единственная настоящая Внешняя Монголия, Ленни.

Ну да, только после придется возвращаться.

Он искоса взглянул на нее. Невероятно, до чего она была красивая, эта девчонка, даже через две недели. Она не старела, то есть ну, вы понимаете. Такая же красивая, как если бы

он и не знал ее вовсе.

Он сдался. Эти принципы, они ему уже вот где. Невозможно постоянно жить, время от времени нужно и сдаваться. Да, он любил ее. Такое со всяким случается. Бывает, тебя и в подземном переходе задавят. Человек, он живой, он не может всегда быть лучшим. Светила замечательная луна, все цвело и пахло, Италия, словом, момент подходящий. Италия. Он давно хотел посмотреть на пирамиды. И потом, если ваша мамочка вас бросила, когда вам было восемь лет, это вовсе не значит, что она одна такая, и что все остальные, это на всю жизнь. Вот эта, например, она тоже тебя бросит, Ленни. Не беспокойся.

Он стал что-то напевать. Сунул руки в карманы и нащупал что-то, чего раньше там не было. Достал. О, черт! Доллары. Целая куча.

– Боже мой, что это такое? Откуда?

– Это мои товарищи положили тебе деньги в карман, Ленни. Подъемные.

Он пересчитал банкноты.

– Десять тысяч долларов, – сказал он сдавленным голосом.

Он словно окаменел. Ловушка. Настоящая.

– Десять тысяч. Я не могу жить с этим, Джесс. Нет, какие тут шутки, это не для меня. Десять тысяч. . . Я теперь и пошевелиться не смогу, боюсь, как бы их не задеть ненароком.

– Оставь это, слышишь.

– Говорю тебе, у меня от этого шарики за ролики заезжают.

– Привыкнешь.

– Этого-то я и боюсь. Ты привыкаешь к чему-нибудь или к кому-нибудь, а потом они вас бросают. И ничего не остается. Ты понимаешь?

Она затормозила. Голос ее дрожал.

– Ленни, да что же они все тебе сделали? Я тебя не брошу.

– Они ничего мне не сделали, Джесс. Абсолютно ничего. Их двести миллионов, что они могут?.. Им вообще нет никакого дела. Они даже не посмотрели на меня. Полная демография. Иногда твоя мать сбегает, вот и все.

– Я не сбегу.

– Мне не нужна мать. На что мне эти матери. Моя-то даже правильно сделала, что сбежала. Прежде ее имели все подряд на мужниной постели, когда отца не было дома. Да, дорогой, о, да, вот так, дорогой, еще, да, да, вот так. А мне еще и семи не было. Я даже считать не умел. Что уж там. . .

Она остановила машину, потянулась к нему, обняла крепко-крепко.

– Ленни. . . Ленни. . .

– Что ты плачешь, Джесс? Я ведь только хотел сказать, что не люблю, когда сбегают. Поэтому сбегая первым. Так оно вернее.

– Обещаю тебе, Ленни, ты сбежишь первым. Ты меня бросишь, а не я тебя.

– Обещаешь?

– Да, да, да!

– Что ж, тогда ладно. И детей не будем заводить. Зачем их мучить.

– Как скажешь.

– И еще одно. Твой отец, я здесь ни при чем. Я ничего не знал. Ничего, слышишь?

– Ленни, я уже все знаю. Он оставил мне письмо. Это была другая банда. Не Ангел.

– Уф! Теперь полегчало. Да, правда, гораздо легче. Ангел, он нормальный парень. Я хочу сказать, что он не из тех, что режут всех направо и налево. Он не станет беспокоиться.

– Джентльмен.

– Точно. Как там его зовут-то, того, другого, у которого судьба, грека?

– Эдип.

– Нет. Ах да, Джонс. Мистер Джонс. Этот настоящий убийца. Даже странно, ты заметила, Джесс, когда говорят «это судьба», всегда имеют в виду какую-нибудь дрянь. Это как предчувствие. Ты когда-нибудь слышала, чтобы предчувствие было хорошим?

Он чувствовал, что засыпает. Анастасия. У них, в Азии, куча всяких классных вещей, это точно. Анастасия. Эвтаназия. Внешняя Монголия. И к тому же это далеко, далеко отовсюду. Никакой судьбы, никаких греков, никаких предчувствий, никакой мамочки, которая как подстилка, о, да, о, вот так, еще, еще, мой дорогой, вот так, да, да, о, мой-йой-ооо. . .

– Нужно будет как-нибудь съездить туда, Джесс.

– Куда, Ленни?

– Ну, туда, знаешь. . . Туда. Далеко-далеко. Очень далеко. Может быть, это существует. Прочное. Должно же оно где-нибудь быть, Джесс. . .

Она всхлипывала, прижимая к себе в лунном свете эту солнечную голову.

– Оно есть, Ленни. Это существует. Только пока оно еще очень далеко.

– Что-то где-то все равно должно быть, Джесс. Нельзя же жить в трубе.

– Спи, любовь моя. Спи.

– Я имею в виду Чарли Паркера. Когда он играет, оно существует. Ты это слышишь, оно здесь и говорит с тобой. Когда он дул в свою трубу, было такое впечатление. . . оно открывалось. . . ты понимаешь. . .

– Понимаю, Ленни. Спи, любимый. Спи, мой мальчик. Я никогда тебя не брошу. Никогда. Ты первым оставишь меня. Не бойся. Спи, малыш. Спи.

– Когда он дул в эту трубу, Джесс. . . тебе казалось, что. . . что-то сейчас упадет. . . что-то откроется. . . и даже что-то будет там, внутри. . . Ты понимаешь. . .

– Я понимаю, что ты хочешь сказать.

– Однажды мы поедем туда, вдвоем. . .

– Да, да, Ленни, поедем. И приедем. Спи. Положи голову. Сюда. Да, вот так. Теперь ты – вся моя жизнь.

– Там, наверное, здорово, там, где-то. . . Не знаю, где. . . Не здесь. . . Ты понимаешь. . .

– Понимаю, Ленни. Да, я понимаю, что ты хочешь сказать.

– Нельзя жить. . . в трубе. Джесс. . . Ты понимаешь. . .

*Баха Калифорния, ноябрь 1963*

*Париж, март 1968*